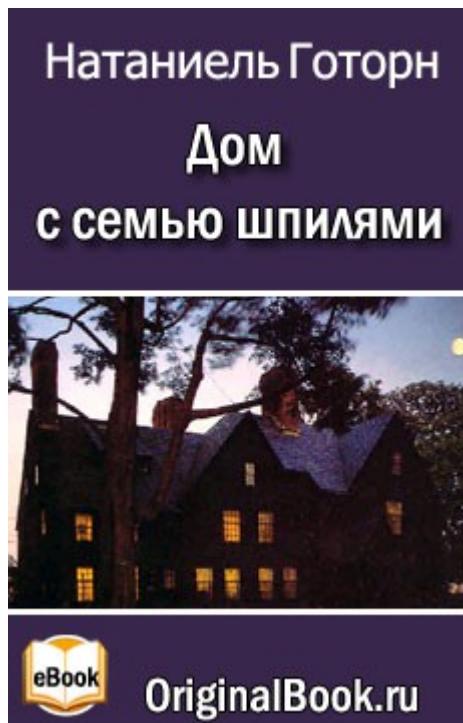


# Натаниэль Готорн

## Дом с семью шпилями

Оригинал:

[The House of the Seven Gables](#)



1851

Натаниэль Готорн — классик американской литературы. Его произведения отличает тесная взаимосвязь прошлого и настоящего, реальности и фантастики. По признанию критиков, Готорн имеет много общего с Эдгаром По.

«Дом с семью шпилями» — один из самых известных романов писателя. Старый полковник Пинчон, прибывший в Новую Англию вместе с первыми поселенцами, несправедливо обвиняет плотника Моула, чтобы заполучить его землю. Моула ведут на эшафот, но перед смертью он проклинает своего убийцу. С тех пор над домом полковника тяготеет проклятие.

Ebook: <http://originalbook.ru>

## Дом с семью шпилями. Натаниэль Готорн

### Глава I. Старый род Пинчонов

В одном из городов Новой Англии стоит посреди улицы старый деревянный дом с высокой трубой и семью остроконечными шпилями, или, лучше сказать, фронтонами здания, которые смотрят в разные стороны. Улица называется улицей Пинчонов, здание – домом Пинчонов, а развесистый вяз перед входом в этот дом известен каждому мальчишке в городе под именем вяза Пинчонов. Когда мне случается бывать в этом городе, я почти всякий раз заворачиваю на улицу Пинчонов, чтобы пройти в тени этих двух древностей – раскидистого дерева и избитого бурями дома.

Вид этого почтенного здания производил на меня всегда такое же впечатление, как человеческое лицо: мало того что я видел на его стенах следы внешних бурь и солнечного зноя – они говорили мне о долгом кипении человеческой жизни в их внутреннем пространстве и о превратностях, которым подвергалась эта жизнь. Если бы рассказать вам о ней со всеми подробностями, так она бы составила повесть не только интересную и поучительную, но и поистине замечательную. Но такая история затронула бы цепь событий, тянувшихся почти через два столетия, а подробности ее заполнили бы толстый том или такое количество томиков, какое едва ли было бы благоразумно посвятить летописям всей Новой Англии за тот же период. Поэтому нам необходимо как можно больше сжать предание о старом доме Пинчонов, иначе называемом Домом с семью шпилями. Мы приступим к развитию действия в эпоху не очень отдаленную от нашего времени, а пока вкратце расскажем об обстоятельствах, при которых было положено основание этому дому, и бросим беглый взгляд на его странную наружность и на его почерневшие – особенно от восточного ветра – стены, на которых местами уже простирала, так же как и на кровле, мшистая зелень. Повесть наша будет иметь связь с делами давно минувших дней, с людьми, нравами, чувствами и мнениями, почти совершенно забытыми. Если нам удастся передать все это читателю в достаточной ясности, то он наверняка выведет важное нравоучение из маловажной истины, что дела прошедшего поколения есть семена, которые могут и должны дать добрый или дурной плод в отдаленном будущем; что вместе с временными посевами, которые обыкновенно называются средствами к существованию, люди неизбежно сеют растения, которым суждено развиваться и в их потомстве.

Дом с семью шпилями, несмотря на свою видимую древность, был не первым обиталищем, какое построил цивилизованный человек на этом самом месте. Улица Пинчонов носила прежде более смиренное название переулка Моула, по имени своего первоначального поселенца, мимо хижины которого шла тропинка, проторенная коровами. Естественный источник чистой и вкусной воды – редкое сокровище на морском полуострове, где была расположена пуританская колония и где Мэтью Моул построил свою хижину с косматой соломенной кровлей. Тогда она была удалена от того, что называлось центром деревни. Когда же, лет через тридцать или сорок, деревня разрослась в город, место, на котором стояла лачуга Моула, чрезвычайно приглянулось одному статному и сильному человеку, который и предъявил притязания на владение как этим участком, так и обширной полосой окрестных земель – в силу того, что они были пожалованы ему правительством. Этим претендентом был полковник Пинчон, известный нам по нескольким чертам характера, которые сохранены преданием, как человек энергичный и непреклонный в своих намерениях. Мэтью Моул, со своей стороны, несмотря на низкое звание, тоже с особым упорством защищал то, что считал своим правом, и в течение нескольких лет отстаивал один или два акра земли, которые собственными руками когда-то расчистил от леса. Нам не известен ни один письменный документ, касающийся этой тяжбы. Сведения наши обо всем событии основаны большей частью на предании. Поэтому было бы слишком смело и, пожалуй, несправедливо делать решительное заключение о законности или незаконности действий обеих сторон, хотя, впрочем, и предание оставляло открытым вопрос, не преступил ли полковник Пинчон свои права с целью присвоить себе небольшое владение Мэтью Моула. Это подозрение подтверждается больше всего тем фактом, что спор между двумя столь неравными противниками – и притом в период, когда личное влияние имело гораздо больше веса, нежели ныне, – окончился только смертью владельца оспариваемого участка земли. Эта смерть окружила имя владельца хижины каким-то ужасным ореолом, так что после казалось делом весьма отважным – вспахать небольшое пространство, занятое его жилищем, и стереть след этого жилища и память о нем в народе.

Старого Мэтью Моула казнили за колдовство. Он был одной из жертв этого ужасного суеверия, которое, между прочим, доказывает нам, что в старой Америке сословия сильные, стоявшие во главе народа, разделяли в такой же степени всякое фанатическое заблуждение своего века, как и самая темная чернь. Духовенство, судьи, государственные сановники – умнейшие, спокойнейшие, непорочнейшие люди своего времени – громче всех одобряли иногда кровавое

дело. Столь же мрачную сторону их поведения составляет странная неразборчивость, с которой они преследовали не только людей бедных и дряхлых – как это было во времена более отдаленные, – но и лиц всех званий, преследовали равных себе, преследовали собственных братьев и жен. Неудивительно, если посреди такой мешанины несчастий, человек столь незначительный, как Моул, очутился на месте казни, почти незамеченный в толпе своих товарищ по участи. Но впоследствии, когда миновал фанатизм этой эпохи, вспомнили, что полковник Пинчон громче всех ратовал за то, чтобы земля была очищена от колдуна. Говорили втихомолку и о том, что он имел свои причины с таким ожесточением добиваться осуждения Мэтью Моула. Все знали, что несчастный протестовал против жестокости и злобы своего преследователя и объявил, что его, Моула, ведут на смерть из-за его имущества. В минуту самой казни – когда ему надели петлю на шею в присутствии полковника Пинчона, который верхом на коне взирал с угрюмым видом на ужасную сцену, – Моул обратился к нему с эшафота и произнес предсказание, точные слова которого сохранены как историей, так и преданиями у домашнего очага: «Бог, – сказал умирающий, указывая пальцем на своего врага и вперив зловещий взгляд в его чуждое проявлением чувств лицо, – Бог напоит его моей кровью!»

После смерти мнимого чародея его убогое хозяйство сделалось легкой добычей полковника Пинчона. Но когда разнесся слух, что полковник намерен построить себе дом – большой, крепко срубленный из дубовых брусьев дом, рассчитанный на много поколений вперед, – на месте, которое прежде занимала лачуга Мэтью Моула, то деревенские кумовья только покачивали головами. Не выражая вслух сомнения в том, что могущественный пуританин действовал добросовестно и справедливо, во время упомянутого нами процесса они, однако ж, намекали, что он хочет построить свой дом над могилой, не совсем спокойной. Дом его будет заключать в своих стенах бывшее жилище повешенного колдуна, следовательно, даст некоторое право духу Мэтью Моула разгуливать по новым покоям, где в будущем молодые четы устроят свои спальни и где будут рождаться на свет потомки Пинчона. Ужас и отвращение, внушаемые преступлением Моула, и страшное воспоминание о его казни будут омрачать свежую штукатурку стен и придавать дому атмосферу печали. Странно, что, имея в своем распоряжении столько земли, усеянной листвами еще девственных лесов, полковник Пинчон выбрал для своей усадьбы именно это место!

Но он был не из тех, кто отказался бы от своего плана из боязни привидений или из пустой чувствительности, каким бы ни было ее основание. Если бы ему

сказали о вредном воздухе, это, пожалуй, еще подействовало бы на него; что же до злого духа, то он готов был сразиться с ним в любое время. Одаренный здравым и твердым, как кусок гранита, умом и непоколебимым упорством в намерениях, он всегда оставался до конца верен своим замыслам. Что же касается деликатности, щепетильности или еще каких-нибудь тонких чувств, то они были совершенно чужды полковнику. Итак, ничто не мешало ему рыть погреб и закладывать глубоко основание своего дома на том самом месте, которое несколько десятков лет назад Мэтью Моул очистил впервые от лесных листвьев. Замечательно — а по мнению некоторых, даже знаменательно — то обстоятельство, что не успели работники приняться за дело, как упомянутый выше источник совершенно утратил прекрасные свойства своей воды. Были ли его водяные жилы нарушены глубиной нового погреба, или здесь скрывалась более таинственная причина — не ясно, известно только, что вода в источнике Моула — как его продолжали называть — сделалась жесткой и солоноватой. Она и до сих пор остается такой, и любая старуха, живущая в окрестностях, будет уверять вас, что от нее зарождаются разные внутренние болезни.

Читателю, быть может, покажется странным, что главным плотником из работавших над постройкой нового дома был не кто иной, как сын Мэтью Моула. Вероятно, он был лучшим мастером в свое время, а возможно, полковник счел нужным — или его сподвигло на это какое-нибудь лучшее чувство — забыть в этом случае о своей вражде к родне павшего соперника. Впрочем, таким был тот век: сын не отказывался заработать честные деньги, или, лучше сказать, порядочное количество фунтов стерлингов, даже на службе у смертельного врага своего отца. Как бы то ни было, только Томас Моул был архитектором Дома с семью шпилями и исполнил свое дело так добросовестно, что дубовая постройка — детище его рук — держится до сих пор.

Итак, огромный дом был выстроен. Сколько я его помню, он всегда был стар — а я помню его с детства: он уже и тогда был предметом моего любопытства как лучший и прочнейший образец давно минувшей эпохи и вместе с тем как сцена происшествий, исполненных интереса, может быть, гораздо в большей мере, нежели приключения серых феодальных замков; он всегда был для меня древним домом, и потому мне очень трудно представить блеск новизны, в каком впервые озарило его солнце. Его нынешнее состояние, до которого он дошел за сто шестьдесят лет, неизбежно будет омрачать картину, в какой мы желали бы представить себе его внешний вид в то утро, когда пуританский магнат зазвал к себе в гости весь город. В доме должно было совершиться освящение вместе с

праздником новоселья. После молитвы и проповеди почтенного мистера Хиггинсона и после хорового пения псалма для чувств более грубых готовилось обильное возлияние пива, сидра, вина и водки, и, как было известно, ожидали также зажаренного целиком быка или по крайней мере искусно разрезанные части говядины в количестве, равном весу и объему целого быка. Коза, застреленная в двадцати верстах от этих мест, пошла на паштет. Из трески весом в шестьдесят фунтов, пойманной в заливе, сварили прекрасную уху. Словом, труба нового дома, выбрасывая в воздух дым из кухни, наполняла всю окрестность ароматом говядины, дичи и рыбы, обильно приправленных душистыми травами и луком.

Улица в назначенный час была заполнена народом; каждый, подходя к дому, осматривал снизу доверху величавое здание. Оно стояло несколько в стороне от улицы, но скорей из гордости, нежели из скромности. Весь фасад его был украшен странными фигурами, произведением грубой готической фантазии. Семь остроконечных фронтонов со шпилями возносились к небу, похожие на целую группу строений, дышащих посредством одной огромной трубы. Многочисленные перегородки в окнах со своими мелкими, вырезанными алмазом стеклами пропускали солнечный свет в залу и в другие покои, между тем как второй этаж, выступая над первым, бросал на него тень и придавал меланхолическую мрачность нижним комнатам. Деревянные шары, украшенные резьбой, были прикреплены под выступами верхнего этажа. Небольшие железные спирали украшали каждый из семи шпилей. На треугольнике шпилия, глядевшего на улицу, в то же самое утро были установлены солнечные часы – солнце на них еще показывало первый светлый час истории, которой не суждено было продолжаться так же светло. Вокруг дома земля была еще завалена щепками, обрезками дерева, досками и битым кирпичом; все это вместе с недавно изрытой почвой, которая не успела еще порастить травой, усиливало впечатление странности и новизны, которое производит на нас дом, не совсем еще занявший свое место в повседневной жизни людей.

Итак, гости собрались в доме. Полковник Пинчон удалился к себе в кабинет, который называли приемной. Шло время, а он все не появлялся. Наконец присутствовавший среди гостей лейтенант-губернатор решил позвать хозяина к столу. Он подошел к двери приемной и постучал. Но ответа не последовало. Когда затих стук, в доме царило глубокое, страшное, тяготившее душу молчание.

— Странно, право! Очень странно! — воскликнул лейтенант-губернатор, нахмурившись. — Но так как наш хозяин подает нам пример несоблюдения приличий, то и я отброшу их и без церемоний войду в его комнату!

Он повернул ручку, дверь уступила и вдруг отворилась настежь внезапно ворвавшимся ветром, который, подобно долгому вздоху, прошел от наружной двери через все проходы и комнаты нового дома. Он зашелестел платьями дам, взвеял длинные кудри джентльменских париков и заколыхал занавесями у окон и постельными шторами в спальнях, всюду производя странный трепет, который был еще поразительнее тишины. Неопределенный ужас, будто от какого-то страшного предчувствия, закрался в душу каждого из присутствовавших.

Несмотря на это, гости поспешили к отворенной двери, подталкивая вперед в своем нетерпеливом любопытстве самого лейтенанта-губернатора. При первом взгляде они не заметили ничего необычного. Это была хорошо убранная комната умеренной величины, немного мрачная от занавесок; на полках стояли книги; на стене висела большая карта и, как можно было догадаться, портрет полковника Пинчона, под которым сидел сам оригинал в дубовом кресле, с пером в руке. Письма и чистые листы бумаги лежали перед ним на столе. Он, казалось, смотрел на любопытную толпу, брови его были нахмурены, и на смуглом лице заметно было неудовольствие, как будто он сильно оскорбился вторжением к себе гостей.

Тут мальчик, внук покойника, единственное человеческое существо, которое осмеливалось фамильярничать с ним, протиснулся в эту минуту сквозь толпу гостей и побежал к сидевшей фигуре, но, остановившись на полпути, испуганно вскрикнул. Гости, вздрогнув все разом, как листья на дереве, подступили ближе и заметили в пристальном взгляде полковника Пинчона неестественное выражение; на его манжетах видны были кровавые пятна, и серебристая борода его была также забрызгана кровью. Поздно было уже оказывать помощь. Жестокосердый пуританин, неутомимый преследователь, хищный человек с непреклонной волей был мертв! Мертв в своем новом доме! Предание, едва ли стоящее упоминания, потому что оно придает оттенок суеверного ужаса сцене, и без того довольно мрачной, — предание утверждает, будто бы из толпы гостей послышался чей-то громкий голос, напомнивший последние слова казненного Мэтью Моула: «Бог напоил его моей кровью!»

Вот так рано смерть — этот гость, который непременно является во всякое жилище человеческое, — перешагнула через порог Дома с семьёй шпилями!

Внезапный и таинственный конец полковника Пинчона наделал в то время немало шуму. Поговаривали, что он умер насильственной смертью, так как на горле у него замечены были следы пальцев, на измятых манжетах – отпечаток кровавой руки, а его остроконечная борода была всклокочена, как будто кто-то крепко ее схватил. Во внимание принималось и то соображение, что решетчатое окно возле кресла полковника было в ту пору отворено, а за пять минут до рокового открытия была замечена человеческая фигура, перелезавшая через садовую ограду позади дома. Но мы не станем придавать какую-либо важность этого рода историям, которые непременно вырастают вокруг всякого подобного происшествия и которые, как и в настоящем случае, иногда переживают целые столетия. Что касается собственно нас, то мы так же мало им верим, как и басне о костяной руке, которую будто бы видел лейтенант-губернатор на горле полковника, но которая исчезла, когда он сделал несколько шагов вперед по комнате. Известно только, что несколько докторов медицины долго совещались между собой и жарко спорили о мертвом теле. Один, по имени Джон Свиннертон, – особа, по-видимому, весьма важная – объявил, если только мы ясно поняли его медицинские выражения, что полковник умер от апоплексии. Каждый из его товарищей выдвигал свою гипотезу, более или менее правдоподобную, но все они облекали свои мысли в такие темные, загадочные фразы, которые должны были свести с ума неученого слушателя. Уголовный суд освидетельствовал тело и, так как он состоял из людей особенно умных, вынес заключение, против которого нечего было сказать: «Умер скоропостижно».

В самом деле, трудно предположить, что здесь было серьезное подозрение в убийстве или основание обвинять в злодеянии какое-нибудь постороннее лицо. Сан, богатство и почетное место, занимаемое покойником в обществе, сами по себе являлись достаточными причинами для того, чтобы произвести самое строгое следствие. Но так как в документах не говорится ни о каком следствии, то можно думать, что ничего подобного не было. Предание, которое часто сохраняет истину, забытую историей, но еще чаще передает нам нелепые толки, какие в старину велись у домашнего очага, а теперь наполняют газеты, – предание одно виной всем противоположностям в показаниях. В надгробном – после напечатанном и уцелевшем до сих пор – слове, почтенный мистер Хиггинсон наравне с разными благополучиями земного странствия своего почтенного прихожанина упоминает о тихой, благовременной кончине. Покойник исполнил свои обязанности – его род носит достойное имя и его отпрыски поселены под надежным кровом на целые столетия; что же еще оставалось этому добруму человеку, кроме как совершить конечный шаг с земли

в златые небесные врата? Нет сомнения, что благочестивый проповедник не произнес бы таких слов, если бы он только подозревал, что полковник переселен в другой мир рукой убийцы.

Семейство полковника Пинчона, по-видимому, было настолько хорошо обеспечено на будущее, как только возможно при непостоянстве всех дел человеческих. Весьма естественно было предполагать, что с течением времени благосостояние его скорее увеличится, нежели придет в упадок. Сын и наследник его не только вступил в непосредственное владение богатым имением, но в силу одного контракта с индейцами, подтвержденного после общим собранием директоров, имел притязание на обширный, еще не исследованный кусок восточных земель. Эти владения заключали в себе большую часть так называемого графства Вальдо в штате Мэн и превосходили объемом многие герцогства в Европе. Когда непроходимые леса уступят место – как это и произойдет неизбежно, хотя, может быть, через многие сотни лет, – золотой жатве, тогда они станут для потомков полковника Пинчона источником несметного богатства. Если бы только полковник пожил еще неделю, то, весьма вероятно, благодаря своему политическому влиянию и сильным связям в Америке и в Англии, он успел бы подготовить все, что было необходимо для полного успеха в его притязании. Но, несмотря на красноречивые слова доброго мистера Хиггинсона по случаю кончины полковника Пинчона, это было единственное дело, которое покойник при всей своей предусмотрительности не смог довести до конца. Сыну его не только не доставало высшего положения, которое занимал в обществе отец, но и способностей и силы характера для того, чтобы достичь его. Поэтому он не мог ни в чем преуспеть посредством личного влияния, а справедливость притязаний Пинчонов была совсем не так очевидна после смерти полковника, как при его жизни. Из цепи доказательств потеряно было одно звено – только одно, но его нигде нельзя было теперь найти.

Пинчоны, однако, не только на первых порах, но и в разные эпохи следующего столетия, отстаивали свою собственность. Прошло уже много лет, как права полковника были забыты, а Пинчоны все продолжали справляться с его старой картой, начерченной еще в то время, когда графство Вальдо было непроходимой пустыней. Где стаинный землемер изобразил только леса, озера и реки, там они намечали расчищенные пространства, чертили деревни и города и вычисляли возрастающую ценность территории.

Впрочем, в роду Пинчонов в каждом поколении появлялась какая-нибудь личность, до некоторой степени одаренная проницательным умом и

энергичностью, отличавшими старого полковника. Черты его натуры можно было наблюдать в характерах многих его потомков: они отражались в них с такой же точностью, как если бы сам полковник, только несколько смягченный, время от времени снова появлялся на земле. Тогда в городе говорили: «Опять показался старый Пинчон! Теперь семь шпилей засияют снова!» Все как один Пинчоны были привязаны к родовому гнезду. Впрочем, разные причины заставляют автора думать, что многие – если не большая часть наследственных владельцев этого имения – терзались сомнениями насчет этого дома. О законности владения тут не могло возникнуть вопроса, но тень дряхлого Мэтью Моула тяжелым грузом ложилась на совесть каждого Пинчона.

Мы уже сказали, что не беремся проследить всю историю Пинчонов в непрерывной ее связи с Домом с семью шпилями, не беремся также изобразить дух дряхлости и запустения, повисший над самим домом. А внутри этого почтенного здания, в одной из комнат, всегда висело большое мутное зеркало; оно, по баснословному преданию, удерживало в своей глубине все образы, какие когда-либо отражались в нем, – образы самого полковника и множества его потомков. Некоторые из них были в старинной детской одежде, другие в расцвете женской красоты, или мужественной молодости, или в сединах пасмурной старости. Если бы тайна этого зеркала была в нашем распоряжении, то нам бы только стоило сесть напротив него и перенести запечатленные в нем образы на свои страницы. Но предание, которому трудно найти основание, гласит, что потомство Мэтью Моула тоже имело связь с таинствами зеркала и могло каким-то мистическим образом делать так, что в отражении появлялись покойные Пинчоны – не в том виде, в каком они представлялись людям, не в лучшие и счастливейшие часы их, но в апогее жестокой житейской горести. Народное воображение долго было занято делом старого пуританина Пинчона и колдуна Моула: долго вспоминали предсказание с эшафота, делая к нему разные прибавления, и если у кого-нибудь из Пинчонов начинало першить в горле, то сосед его уже готов был шепнуть другому на ухо полууштя-полусерьезно: «Его мучит кровь Моула!» Внезапная смерть одного из Пинчонов лет сто назад, при обстоятельствах, напоминавших кончину полковника, была принята за подтверждение справедливости общего мнения на этот счет. Сверх того, неприятным и зловещим казалось следующее обстоятельство: изображение полковника Пинчона оставалось неприкасаемым и висело на стене той самой комнаты, в которой он умер. Эти суровые, неумолимые черты как будто символизировали грустную судьбу дома.

Впрочем, род Пинчонов существовал больше чем полтора столетия и подвергся, по-видимому, меньшим бедствиям, нежели многие другие современные ему семейства Новой Англии. Отличаясь свойственными только им особенностями, Пинчоны, однако, носили и общие черты того небольшого общества, в котором жили. Их родной город славился своими воздержанными, скромными, порядочными и приверженными к домашнему очагу обитателями; но надо признаться, что в нем встречались такие странные личности и происходили такие необыкновенные приключения, какие едва ли случалось вам встречать где-нибудь еще. Во время войны с Англией Пинчоны той эпохи, поддерживая короля, вынуждены были покинуть родину, но потом вернулись в свое отчество, чтобы спасти от конфискации Дом с семьёй шпилями. За последние семьдесят лет самым примечательным событием в семейной хронике Пинчонов, а в то же время и самым тяжким бедствием, какому только подвергался их род, была насильственная смерть – по крайней мере так думали – одного из членов семейства от руки другого. Некоторые обстоятельства этого ужасного события заставляли считать убийцей племянника погибшего Пинчона. Молодой человек был допрошен и обвинен в преступлении, но или показания не были вполне убедительны, так что в душе судей осталось тайное сомнение, или один из аргументов обвиненного – его знатность и обширные связи – имел большее веса, только смертный приговор его заменили пожизненным заключением. Это печальное событие случилось лет за тридцать до того момента, в который начинается действие нашей истории. В последнее время носились слухи (им верили немногие), что будто бы этот заключенный по той или иной причине был вызван на свет из своей могилы.

Кстати, нужно сказать здесь несколько слов о жертве этого уже почти забытого убийства. То был старый холостяк, имевший кроме дома и поместья, оставшихся от старинного имения Пинчонов, еще и большой капитал. Он был эксцентричным меланхоликом, любил рыться в старых рукописях и слушать старинные предания и якобы дошел до заключения, что Мэтью Моул, колдун, лишился жизни и имущества совершенно несправедливо. Когда он в этом убедился, то, как утверждали знавшие его ближе других, решил отдать Дом с семьёй шпилями одному из потомков Мэтью Моула, и только беспокойство его родни, вызванное догадкой о такой мысли старика, помешало ему привести в исполнение это намерение. Он не преуспел в своем предприятии, но после его смерти осталось опасение – не сохранилось ли где-нибудь его духовное завещание, составлению которого старались помешать при его жизни.

Жилище покойного вместе с большей частью других богатств досталось в наследство ближайшему законному родственнику. Это был племянник, кузен молодого человека, обвиненного в убийстве дяди. Новый наследник до самого вступления во владение имением слыл большим повесой, но теперь исправился и стал достойным членом общества. Действительно, он обнаружил в себе многие качества полковника Пинчона и достиг большей значимости в свете, чем кто-либо из его рода со времен старого пуританина. Занявшийся уже в достаточно зрелом возрасте изучением законов и питая склонность к гражданской службе, он долго работал в каком-то второстепенном присутственном месте и в конце концов получил сан судьи. Потом он полюбил политику и дважды заседал в конгрессе. Помимо того что он таким образом представлял собой довольно значительную фигуру в обеих отраслях законодательства Соединенных Штатов, судья Пинчон бесспорно был украшением своего рода. Он выстроил себе деревенский дом в нескольких милях от родного города и проводил в нем все свободное от служебных занятий время «в общении и в добродетелях, свойственных христианину, добруму гражданину и джентльмену».

Но из Пинчонов остались в живых немногие, кто мог воспользоваться плодами благоденствия судьи. В отношении естественного приращения поколение их сделало мало успехов; скорее можно сказать, что оно вымерло, нежели приумножилось. Членами семейства были: во-первых, сам судья и его единственный сын, путешествовавший по Европе; во-вторых, уже достигший тридцатилетнего возраста заключенный, о котором мы говорили выше, и сестра его, что вела чрезвычайно уединенную жизнь в Доме с семьёй шпилями, доставшемся ей в пожизненное владение по завещанию старого холостяка. Ее считали совершенно нищей, и она, по-видимому, сама избрала себе такой жребий, хотя кузен ее – судья – не раз предлагал ей жить со всеми удобствами или в старом доме, или в своем новом жилище. Наконец, последней и самой юной из рода Пинчонов была деревенская девушка лет семнадцати, дочь другого кузена судьи, женившегося на молодой незнатной и небогатой женщине и скончавшегося рано в бедственных обстоятельствах. Вдова его недавно вышла замуж во второй раз.

Что касается потомства Мэтью Моула, то оно считалось уже вымершим. Впрочем, после общего заблуждения насчет колдовства Моулы долго еще продолжали жить в городе, где казнили их предка. Они были людьми спокойными, честными и благомыслящими, и никто не замечал в них злобы за нанесенную их роду обиду. Если же у домашнего очага Моулов и переходило от

отца к сыну воспоминание о судьбе мнимого чародея и потере их наследства, то враждебное чувство, возбужденное этим воспоминанием, не отражалось в их поступках и никогда не высказывалось открыто. Было бы неудивительно, если бы они и вовсе перестали вспоминать, что Дом с семью шпилями стоит на земле, принадлежавшей их предку. Моулы таили свое неудовольствие в глубине души. Они постоянно вынуждены были бороться с бедностью, так как принадлежали к классу простолюдинов, добывали себе пропитание трудами рук своих, работали на пристанях или плавали по морям в качестве матросов; жили то в одном, то в другом конце города в съемных лачугах и под конец жизни переселялись в богадельню. Наконец, после долгого блуждания по дорогам судьбы они канули на дно и исчезли навеки, что, впрочем, рано или поздно предстоит каждому. В течение последних тридцати лет ни в городских актах, ни на могильных камнях, ни в народных переписях, ни в частных воспоминаниях – нигде не появлялось ни единого следа потомков Мэтью Моула. Может быть, они и существуют где-нибудь до сих пор, но этого не знает никто.

Пока не исчезли представители рода Моула, они отличались от других людей; это отличие не бросалось в глаза, его легче было почувствовать, чем выразить словами: оно состояло в их врожденно-осторожном характере. Приятели их – или по крайней мере желавшие быть их приятелями – убеждались, что Моулы будто обведены магическим кругом, за черту которого при всей их внешней откровенности и дружелюбии посторонний не мог проникнуть. Может быть, эта-то особенность их характера и удерживала людей на расстоянии от них. Она, без сомнения, только усиливала в отношении к ним это чувство суеверного страха, с которым горожане продолжали смотреть на все, что напоминало им мнимого колдуна: такое грустное оставил он наследство! По мнению горожан, потомки Моула наследовали его таинственные качества, и, по убеждению многих, глаза их были наделены странной силой. Среди других отличий, им также приписывали дар нарушать сон близких.

Нам остается написать еще немного о Доме с семью шпилями, и введение будет окончено. Улица, на которой он стоял, давно уже перестала слыть лучшей частью города; так что, хотя старое здание и было окружено новыми домами, все они в основном были невелики, построены из дерева и достаточно однообразны, как и многие жилища простолюдинов. Что касается древнего здания – театра нашей драмы, – то его образ составляли дубовый сруб, доски, гонт<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Гонт – остро сточенные с одной стороны и с пазом вдоль другой стороны дранки, дощечки, которыми кроют крыши, вкладывая сточенный конец одной дощечки в паз другой.

осыпающаяся мало-помалу штукатурка и громадная труба посреди кровли. А в его стенах люди пережили столько разнообразных чувств, в нем столько страдали, а иногда и радовались, что само дерево как будто пропиталось этими ощущениями. Дом этот в наших глазах есть огромное сердце со своей самостоятельной жизнью, со своими приятными и мрачными воспоминаниями.

Выступ второго этажа придавал дому такой задумчивый, размышающий вид, что невозможно было пройти мимо него, не подумав, что он заключает в себе много тайн и будто бы философствует над какой-то повестью, полной необыкновенных приключений. Перед ним, на самом краю немощеного тротуара, рос вяз, который, по сравнению с деревьями, какие мы обыкновенно встречаем, мог считаться настоящим великаном. Он был посажен праправнуком первого Пинчона, и, хотя ему теперь исполнилось уже лет восемьдесят, а может быть, и сто, он будто еще только-только возмужал; бросая тень от края до края улицы, он поднялся даже над семью шпилями и трепал почерневшую кровлю дома своими густыми ветвями. Вяз этот облагораживал старое здание и как бы делал его частью природы. Улицу за последние сорок лет значительно расширили, так что теперь передний фронтон находился как раз у ее черты. По обе его стороны тянулась полуразрушенная деревянная ограда, сквозь которую был виден зеленый двор, а по углам подле здания в необыкновенном изобилии рос камыш. За домом располагался сад, некогда обширный, но теперь стесненный другими оградами или домами и разными постройками другой улицы. Было бы упущением, маловажным конечно, однако же непростительным, если бы мы позабыли упомянуть о зеленом мхе, который разросся на выступах окон и на откосах кровли. Нельзя также не обратить внимания читателя на цветочный кустарник, который рос высоко в воздухе, недалеко от трубы, в углу между двух шпилей. Эти цветы были прозваны Букетом Элис. Какая-то Элис Пинчон, по преданию, посеяла там, ради забавы, семена, и когда набившаяся в щели гниющего гонта пыль образовала на кровле нечто вроде почвы, то из семян мало-помалу вырос целый куст цветов. К тому времени Элис давно уже лежала в могиле. Впрочем, каким бы образом ни попали туда эти цветы, грустно и вместе с тем приятно было наблюдать, как природа присвоила себе этот опустелый, разрушающийся, беззащитный перед ветром и обрастающий зеленью старый дом семейства Пинчонов и как с каждым новым летом она всячески, но безуспешно старалась скрасить его дряхлую старость.

Есть еще одна весьма важная черта, которую нельзя оставить без внимания, но которая – этого мы сильно опасаемся – может повредить тому живописному и

романтическому впечатлению, какое это почтенное здание благодаря нашим усилиям произвело на читателя. Из переднего шпиля, как мы называем узко заостренные кверху фронтоны под нависшим челом второго этажа, выходила прямо на улицу дверь лавки, разделенная горизонтально посередине, с окном в верхней ее части, какие часто можно видеть в домах старинной постройки.

Эта дверь причиняла немало горя нынешней обитательнице величавого дома Пинчонов, равно как и некоторым ее предшественникам. Очень трудно говорить о таком щекотливом обстоятельстве, но лет сто назад тогдашний представитель рода Пинчонов оказался в стесненных денежных обстоятельствах. Этот господин, называвший себя джентльменом, был едва ли не какой-нибудь самозванец, потому как, вместо того чтобы пойти на службу к королю или его губернатору или хлопотать о своих землях, он не нашел лучшего пути поправить свои дела, чем прорубить дверь для лавки в стене своего наследственного жилища. У купцов, действительно, был обычай складывать товары и производить торговлю в собственных своих обиталищах, но в торговых операциях этого представителя рода Пинчонов было что-то мелочное. Соседи толковали, что он собственными руками, несмотря на украшавшие их манжеты, давал сдачу с шиллинга и переворачивал по два раза полпенни, чтобы удостовериться, не фальшивый ли он. Нечего и доказывать, что в его жилах текла, по-видимому, кровь какого-то мелкого торгаша.

После его смерти дверь лавочки была немедленно заперта на все засовы и до самого того момента, с которого начинается наша история, вероятно, ни разу не отпиралась. Старая конторка, полки и другие предметы в лавке остались в том же виде, как были при покойном Пинчоне. Иные даже утверждали, что лавочник в белом парике, полинялом бархатном кафтане, в переднике и в манжетах, бережно отвернутых назад, каждую ночь — как видно было сквозь щели в лавочной двери — рылся в своем выдвижном ящике для денег или перелистывал исчерканные страницы записной книги. Судя по выражению неописуемого горя на его лице, можно было подумать, что он осужден целую вечность сводить свои счеты и никогда не свести их.

Теперь мы можем приступить к началу нашей повести — началу самому смиренному, как это читатель тотчас увидит.

## Глава II. Окно лавочки

Оставалось еще с полчаса до восхода солнца, когда Гепзиба Пинчон встала со своей одинокой постели и начала одеваться. Мы далеки от неприличного желания присутствовать при туалете девственной леди. Поэтому наша история должна дождаться мисс Гепзибы на пороге ее комнаты; мы позволим себе до тех пор упомянуть только о нескольких тяжелых вздохах, которые вырвались из ее груди, тем более что никто не мог их слышать, кроме такого слушателя, как мы. Старая дева жила в Доме с семьёй шпилями одна, не считая некоего достойного уважения и благонравного художника-дагеротиписта<sup>2</sup>, который уже месяца три занимал комнаты в отдаленном шпиле – можно сказать, отдельном доме, так как все смежные двери запирались на замки и дубовые засовы, – следовательно, заунывные вздохи бедной мисс Гепзибы туда не долетали. Не долетали они также и ни до какого смертного уха, но всеобъемлющей любви и милосердию на далеких небесах слышна была молитва, то произносимая шепотом, то выражаемая вздохом, то затаенная в тяжком молчании, и постоянно взывавшая к Богу о помощи. Очевидно, этот день был нелегким для мисс Гепзибы, которая на протяжении почти четверти столетия жила в строгом уединении и не принимала никакого участия в делах общества, равно как и в его удовольствиях.

Старая дева окончила свою молитву. Теперь она, спросите вы, переступит наконец через порог нашей повести? Нет, она сперва выдвинет каждый ящик в огромном старомодном бюро, это будет сделано не без труда и с жутким скрипом. Потом она задвинет их с такими же душераздирающими звуками. Вот слышен шелест плотной шелковой материи, слышны шаги взад-вперед по комнате. Мы догадываемся, что мисс Гепзиба встала на стул, чтобы удобнее осмотреть себя во весь рост в овальном туалетном зеркале, которое висит в резной деревянной раме над ее столом. В самом деле! Кто бы мог подумать! Зачем тратить драгоценное время на утренний наряд старой особе, которая никогда не выходит из дома и к которой никто не заглядывает?

Вот она почти готова. Простим ей еще одну паузу – она была сделана ради единственного чувства или, лучше сказать, страсти ее жизни – до такой степени тоска и одиночество разгорячили в ней это чувство. Мы слышим поворот ключа в небольшом замке: она отворила секретный ящик в письменном столе и, вероятно, смотрит на миниатюру кисти Мальбона. Нам посчастливилось видеть этот портрет. То было изображение молодого человека в шелковом старомодном

---

<sup>2</sup> Дагеротипия – открытый Дагером способ фотографирования предметов при помощи света на металлическую пластинку, обработанную особым химическим способом (применялась до введения методов современной фотографии)

шлафроке – мечтательное лицо с полными нежными губами и прелестными глазами, которые, казалось, обнаруживали не столько способность мыслить, сколько склонность к нежному и страстному волнению сердца. О том, кому принадлежали такие черты, мы не имеем никакого права разузнавать; мы только желали бы, чтобы он с легкостью прошел по трудной дороге жизни и был в ней счастлив. Не был ли он некогда обожателем мисс Гепзибы? О, нет! У нее никогда не было обожателя – бедняжка, куда ей! Она даже не знала по собственному опыту, что значит слово «любовь». И однако же, ее неослабевающая вера в оригинал этого портрета, ее вечно свежая память о нем, преданность ему были единственной пищей, какой жило ее сердце.

Она, по-видимому, положила назад миниатюру и стоит опять перед зеркалом. Отирает слезы. Еще несколько шагов по комнате, и наконец с другим жалобным вздохом, подобным порыву холодного, сырого ветра из случайно отворенной двери долго запертого подвала, мисс Гепзиба Пинчон является к нам! Она выходит в темный, почерневший от времени коридор, – высокая фигура в черном шелковом платье, с длинной узкой талией – и ищет дорогу на лестницу, как близорукая, какой она и была на самом деле.

Между тем солнце постепенно поднималось над краем горизонта. Легкие облака, что плыли высоко над ним, уже вобрали в себя его свет, золотистые блики играли в окнах целой улицы, включая и Дом с семью шпилями, который столько раз уже видел восход солнца! Солнечный свет помогает нам ясно рассмотреть устройство комнаты, в которую вошла Гепзиба, спустившись по лестнице. Комната довольно низкая, с перекладинами под потолком; на стенах – потемневшая деревянная резьба; в печь с расписанными изразцами вделан новейший камин. На полу разостлан ковер, некогда богато вытканый, но до того изношенный и полинявший, что его прежде яркие фигуры превратились в пятна неопределенного цвета. Из мебели здесь стоят два стола: один чрезвычайно многосложный, с бесчисленными ножками; другой, собственно чайный стол, сделан гораздо изящнее и имеет только четыре высокие и легкие ножки, по-видимому, до такой степени непрочные, что почти невероятно, как держится на них этот чайный стол с такого давнего времени. По периметру комнаты расставлено полдюжины стульев, прямых и так искусно приоровленных к неудобному расположению на них человеческой фигуры, что на них даже смотреть больно. Исключение составляет только очень древнее кресло с высокой резной спинкой, которое своим объемом вознаграждает опускающегося в него за недостаток изгибов, какими снабжены современные предметы мебели.

Из украшений комнаты мы укажем только на два, если можно вообще назвать их украшениями. Одно – карта владений Пинчонов в восточной Америке, начертенная рукой какого-то старинного топографа и испещренная грубыми изображениями индейцев и диких зверей, в числе которых есть и лев, так как естественная история страны была известна в то время не больше ее географии, а географические сведения о ней состояли из самых фантастических нелепостей. Другое украшение – портрет старого полковника Пинчона в две трети роста. Пуританин в шлеме с грубыми чертами лица и с серебристой бородой, в одной руке он держит Библию, а в другой – железную рукоятку шпаги, и эта последняя принадлежность его особы, изображенная художником удачнее прочих, бросается в глаза сильнее всего.

Войдя в комнату, мисс Гепзиба Пинчон остановилась как раз напротив этого портрета и стала смотреть на него с какой-то особенной угрюмостью, с каким-то странным изгибом бровей, который человек, незнакомый с этой женщиной, вероятно, истолковал бы как выражение досады или ненависти. Но в сущности не было ничего подобного – напротив, она испытывала почтение к изображению старого пуританина, а этот ее отталкивающий, нахмуренный вид был невинным следствием ее близорукости и старания как можно отчетливее увидеть созерцаемый предмет.

Остановимся на минуту на этом несчастном выражении лица бедной Гепзибы. Ее нахмуренность – как несправедливо выражался в своих суждениях о ней свет или та часть его, которой случайно удавалось поймать ее взгляд в окне, – очень сильно вредила ей в глазах других людей, которые называли ее сердитой старой девой. Весьма вероятно, что и сама она, глядя в мутное зеркало и всегда встречая в его волшебном пространстве свои нахмуренные брови, истолковывала выражение своего лица столь же несправедливо, как и остальные. «Как я сегодня мрачна!» – шептала, я думаю, она себе под нос, пока наконец не уверилась в том, что ей суждено быть таким нахмуренным существом. Но сердце ее никогда не хмурилось. Оно было от природы нежным, чувствительным, подверженным волнениям и трепету и всеми этими свойствами обладало до сих пор, хотя лицо Гепзибы казалось суровым и даже злым.

Но мы, однако, все еще боязливо медлим у порога нашей истории. Признаемся, нам очень тяжело, очень неловко рассказывать о том, что станет сейчас делать мисс Гепзиба Пинчон.

Выше уже было сказано, что на нижнем этаже шпиля, обращенного к улице, один предок мисс Пинчон лет сто назад устроил лавочку. С того времени, как старый джентльмен, оставив свою торговлю, уснул вечным сном под гробовой крышкой, не только дверь лавки, но и внутреннее ее устройство оставались нетронутыми. Вековая пыль толстым слоем лежала на полках и конторке; она наполнила чашки весов и набилась в полуоткрытый ящик конторки, где до сих пор лежала одна фальшивая шестипенсовая монета, стоившая даже меньше, чем всякая медная. Лавочка была точно в таком же виде и во время отдаленного детства Гепзибы, когда она и ее брат играли в жмурки в этом заброшенном углу дома... Ничто в ней не переменилось до настоящего момента.

Но теперь, несмотря на то, что окно лавочки все еще было плотно закрыто занавеской от любопытных взглядов прохожих, в ней произошла значительная перемена. Паутину старательно сняли с потолка, конторка и полки были выметены. Потемневшие весы также казались вычищенными – только напрасны были попытки устраниТЬ ржавчину, которая глубоко въелась в металл. В старой лавочке находилось теперь достаточно разных снадобий. Заглянув за конторку, можно было увидеть там бочонок... даже два или три бочонка. В одном содержалась мука, в другом яблоки, а в третьем, может быть, рис. Тут же стояли четырехугольный сосновый ящик с кусками мыла и другой такой же с сальными свечами. Небольшой запас темного сахара, бобы, сухой горох и прочие недорогие припасы, на которые был постоянный спрос, составляли основу запасов лавочки. Кто-то мог подумать, что все эти вещи уцелели еще со времен старого лавочника Пинчона; только вот большинство предметов по их виду и свойствам нельзя было отнести к его эпохе. Например, тут была конфетная стеклянная ваза с «Гибралтарскими кремнями» – не с настоящими осколками фундамента славной крепости, но со сладкими леденцами, красиво завернутыми в бумажки; кроме того, известный всем американским детям паяц Джим Кроу<sup>3</sup> – правда, пряничный – выделявал здесь свои чудесные трюки. Отряд свинцовых драгунов галопировал вдоль одной полки в мундирах новейшего покроя; тут же было и несколько сахарных фигурок, мало похожих на людей какой бы то ни было эпохи, но все-таки больше напоминавших моды нашего времени. Но в особенности бросалась в глаза своей новизной пачка фосфорных спичек, внезапное воспламенение которых в старину приписали бы действию нечистой силы.

<sup>3</sup> Джим Кроу – негр, персонаж популярного представления, которое показывали на подмостках американских ярмарок по всей стране с 1932 года.

Одним словом, по всему было видно, что кто-то занял лавочку давно забытого мистера Пинчона и готов был возобновить торговые дела покойника. Кто мог быть этим смелым аферистом? И почему он из всех мест на свете избрал поприщем своих торговых спекуляций именно Дом с семьёй шпилями?

Возвратимся за объяснением этого недоумения к нашей старой деве. Она, наконец, отвела глаза от мрачной физиономии полковника, снова вздохнула – грудь ее в это утро была настоящей пещерой Эола<sup>4</sup>, – на цыпочках пересекла комнату, прошла смежным коридором и отворила дверь в лавочку, только что описанную нами так обстоятельно. Выступ верхнего этажа и еще более густая тень древнего вяза, который стоял почти напротив этого шпиля, до того сгущали здесь темноту, что утренний полусвет в лавочке был похож на сумерки. Мисс Гепзиба еще раз вздохнула и помедлила с минуту на пороге, всматриваясь в окно с нахмуренными от близорукости бровями, как будто перед ней стоял какой-нибудь враг, и вдруг порхнула в лавочку. Ее торопливость была поистине поразительна.

Она с нервическим беспокойством – можно даже сказать, в каком-то исступлении – принялась приводить в порядок разные детские игрушки и другие мелочи на полках и на окне лавочки. Движениям этой одетой в черное, бледнолицей госпожи была присуща какая-то трагичность, которая резко контрастировала с ее занятием. Странно было видеть, с какой печалью женщина брала в руки детскую игрушку; удивительно, как эта игрушка не исчезала от одного ее прикосновения. Вот она выставляет на окне пряничного слона, но рука ее так дрожит, что слон падает на пол и теряет три ноги и хобот; теперь он уже больше не слон, а просто несколько кусков черствого пряника. Далее она опрокинула банку с мраморными шариками. Все они покатились в разные стороны, и будто враждебная сила разогнала их по самым темным углам лавочки. Когда Гепзиба опустилась на колени, чтобы найти укатившиеся шарики, мы почувствовали, как к нашему сердцу подступили слезы сострадания. В ее душе происходила тяжелая борьба. Леди, с колыбели воспитанная в понятиях о своей важности и богатстве, с колыбели убежденная в ложной мысли, что стыдно такой знатной особе самой зарабатывать себе на содержание, – эта леди после шестидесятилетней борьбы с оскудевающими средствами была вынуждена спуститься с пьедестала своей знатности. Бедность, гнавшаяся за ней

---

<sup>4</sup> Согласно древнегреческой мифологии, Зевс даровал Эолу власть над ветрами, которые тот заключил в пещеру на своем острове.

по пятам всю жизнь, наконец настигла ее. Она должна заработать себе на хлеб насущный или умереть!

Открыть мелочную лавочку было бы почти единственной возможностью женщины, оказавшейся в обстоятельствах нашей несчастной затворницы. При своей близорукости и с этими дрожащими пальцами, негибкими и вместе с тем изнеженными, она не могла работать швеей, хотя ее шитье лет пятьдесят тому назад было поистине образцовым. Ей часто приходило в голову открыть школу для маленьких детей, и однажды она принялась было перечитывать свои давнишние уроки в «Новом английском букваре», с намерением приготовиться к работе наставницей. Но любовь к детям никогда не была очень сильна в сердце Гепзибы, теперь же притупилась больше прежнего, если не угасла навеки. Она наблюдала из окна своей комнаты за соседскими детьми и сомневалась, что смогла бы перенести близкое знакомство с ними. Кроме того, в наше время и сама азбука сделалась такой философской наукой, что нельзя уже научить ей, просто показывая буквы. Нынешний ребенок скорее бы научил мисс Гепзибу, нежели старая Гепзиба научила бы ребенка. Таким образом, после многих замираний сердца, при мысли войти в неприятное столкновение со светом, от которого она так долго держалась в отдалении, бедняжка вспомнила, наконец, о старинной лавочке, о заржавевших весах и о пыльной конторке. Она бы медлила еще долго, но одно обстоятельство, еще не известное читателю, ускорило ее решимость. Она сделала все приготовления и положила начало этому предприятию. В ее родном городе было несколько подобных лавочек. Некоторые из них открылись в таких же старинных домах, как и Дом с семью шпилями, и в одной или даже в двух за конторкой сидела такая же знатная и хмурая старушка, как и мисс Гепзиба Пинчон.

Нельзя было больше откладывать неизбежную минуту. Солнце уже кралось по фронтону противоположного дома; лучи, пробиваясь сквозь ветви вяза, все ярче освещали внутренность лавочки. Город пробуждался. Тачка пекаря уже стучала по мостовой, прогоняя последние остатки ночной тишины нестройным звяканьем своих колокольчиков. Молочник развозил от двери до двери кувшинчики, а вдали слышался пронзительный свисток рыбака. Ни один из этих признаков пробуждения города не ускользнул от наблюдения Гепзибы. Роковая минута наступила. Откладывать и дальше значило бы продлить свое страдание. Ей оставалось только поднять железный засов на двери лавочки, чтобы каждый, кому приглянется что-нибудь из выставленных в окне предметов, мог войти. Гепзиба совершила наконец и этот подвиг. Стук упавшего запора поразил ее

возбужденные нервы, как самый страшный грохот. Тогда – как будто между ней и светом рухнула последняя преграда и поток бедствий готов был хлынуть в ее дверь – она убежала во внутреннюю комнату, бросилась в кресло своих предков и заплакала.

Бедная Гепзиба! Как тяжело писателю, который желает изобразить правдивыми красками натуру в различных обстоятельствах, осознавать, что так много ничтожного должно быть непременно примешано в чистейший пафос, представляемый ему жизнью! Какое, например, трагическое достоинство можно придать подобной сцене? Каким образом опоэтизировать нашу историю, когда мы вынуждены выводить на сцену в качестве главного действующего лица не молодую пленительную женщину, ни даже остатки поразительной красоты, разрушенной горестями, но высохшую, желтую, похожую на развалину старую деву в длинном шелковом платье и с каким-то странным тюрбаном на голове! Даже лицо ее не было безобразным до романтичности: оно приковывало к себе внимание только сдвинутыми от близорукости бровями; и, наконец, испытание ее состоит только в том, что после шестидесяти лет уединенной жизни она сочла необходимым добывать себе содержание, открыв лавочку. Если мы бросим взгляд на все героические приключения человеческого рода, то везде откроем такое же, как и здесь, смешение чего-то мелочного с тем, что есть благороднейшего в радости и горе. Жизнь человеческая составлена из мрамора и тины, и без глубокой веры в неизъяснимую любовь небесную мы видели бы на железном лице судьбы только ничем не смягчаемую суровость. Но так называемый поэтический взгляд в том именно и состоит, чтобы различать в этом хаосе странно перемешанных стихий красоту и величие, которые принуждены облекаться в отталкивающее рубище.

### Глава III. Первый покупатель

Мисс Гепзиба Пинчон сидела в дубовом кресле, закрыв лицо руками и предавшись унынию, которое испытал на себе едва ли не каждый, кто только решался на важное, но сомнительное предприятие. Вдруг послышался громкий, резкий и нестройный звон колокольчика. Дама встала, бледная как мертвец. Неприятный голосок колокольчика (раздавшийся впервые, может быть, с тех времен, когда предшественник Гепзибы оставил торговлю) вызвал дрожь в ее теле. Решающая минута наступила! Первый покупатель отворил дверь!

Не давая себе времени поразмыслить над этим, она бросилась в лавочку. Бледная, с диким видом, с отчаянием в движениях, пристально всматриваясь и, разумеется, хмурясь, она выглядела так, словно скорее ожидала встретить вора, вломившегося в дом, нежели готова была стоять, улыбаясь, за contadorкой и продавать разные мелочи за медные деньги. В самом деле, покупатель обыкновенный убежал бы от нее в ту же минуту. Но в бедном старом сердце Гепзибы не было никакого ожесточения, в эту минуту она не питала в душе горького чувства к свету вообще или к какому-нибудь мужчине или женщине в особенности. Она желала всем только добра, но вместе с тем хотела бы расстаться со всеми навеки и лежать в тихой могиле.

Между тем вновь прибывший стоял в лавочке. Явившись прямо с улицы, он как будто внес с собой в лавочку немного утреннего света. Это был стройный молодой человек двадцати одного или двух лет, с важным и задумчивым, даже чересчур задумчивым для его лет, выражением лица, но вместе с тем в его манерах и движениях сквозили юношеская энергия и сила. Темная жестковатая борода окаймляла его подбородок, при этом он носил небольшие усы; и то и другое очень шло к его смуглому, резко очерченному лицу. Что касается его наряда, то он был как нельзя проще: летнее мешковатое пальто из дешевой материи, узкие клетчатые панталоны и соломенная шляпа, вовсе не похожая на щегольскую. Весь этот костюм молодой человек мог купить себе на рынке, но благодаря своей чистейшей и тонкой сорочке он казался джентльменом – если только имел на это какое-нибудь притязание.

Он встретил нахмуренный взгляд старой Гепзибы, по-видимому, без всякого испуга, как человек, уже знакомый с ним и знавший, что эта женщина была незлой.

– А, милая мисс Пинчон! – сказал художник – это был упомянутый нами жилец Дома с семьёй шпилями. – Я очень рад, что вы не оставили своего доброго намерения. Я зашел для того только, чтобы пожелать вам от души успеха и узнать, не могу ли я чем-нибудь вам помочь.

Люди, находящиеся в затруднительных и горестных обстоятельствах или в раздоре со светом, способны выносить самое жестокое обращение и, может быть, даже черпать в нем новые силы, но они тотчас раскисают, встречая самое простое выражение искреннего участия. Так было и с бедной Гепзибой. Когда она увидела улыбку молодого человека и услышала его ласковый голос, она сперва засмеялась истерическим хохотом, а потом начала плакать.

— Ах, мистер Холгрейв! — пробормотала женщина. — У меня ничего не получится! Ничего, ничего! Я бы желала лучше лежать в старом фамильном склепе вместе с моими предками, с моим отцом и матерью, с моими сестрами! Да, и с моим братом, которому было бы приятнее видеть меня там, нежели здесь! Свет слишком холоден и жесток, а я слишком стара, слишком бессильна, слишком беспомощна!

— Поверьте мне, мисс Гепзиба, — сказал молодой человек спокойно, — что эти чувства перестанут смущать вас, как только вы добьетесь первого успеха в вашем предприятии. Сейчас же они неизбежны: вы вышли на свет после долгого затворничества и населяете мир разными призраками и страхами, но погодите — вы скоро увидите, что они так же неестественны, как великаны и людоеды в детских сказках. Для меня поразительнее всего в жизни то, что все в нем теряет свое кажущееся свойство при первом же прикосновении. Так будет и с вашими страшилищами.

— Но я женщина! — жалобно произнесла мисс Гепзиба. — Я хотела сказать: леди, но это уже не вернуть...

— Так и не будем толковать об этом! — ответил художник. — Забудьте прошлое. Вам же так будет лучше. Я скажу вам откровенно, милая моя мисс Пинчон, — мы ведь друзья? — что я считаю этот день одним из счастливейших в вашей жизни. Сегодня кончилась одна эпоха и начинается другая. До сих пор кровь постепенно застывала в ваших жилах от сидения в одиночестве, между тем как мир сражался с той или иной необходимостью. Теперь же вы предприняли осмысленное усилие для достижения полезной цели, вы сознательно подготовили себя к деятельности. Это уже успех, это покажется успехом всякому, кто только будет иметь с вами дело! Позвольте же мне иметь удовольствие быть первым вашим покупателем. Я сейчас хочу прогуляться по морскому берегу, а потом вернусь в свою комнату. Мне достаточно будет на завтрак нескольких вот таких сухарей, размоченных в воде. Сколько вы возьмете за полдюжины?

— Позвольте мне не отвечать на этот вопрос! — сказала Гепзиба со старинной величавостью и меланхолической улыбкой. Она вручила ему сухари и отказалась от платы. — Женщина из дома Пинчонов, — сказала она, — ни в каком случае не должна под своей кровлей брать деньги за кусок хлеба от своего единственного друга!

Холгрейв вышел, оставив мисс Пинчон не в таком тягостном, как раньше, расположении духа. Вскоре, однако, она вернулась к прежнему состоянию. С тревожным биением сердца она прислушивалась к шагам ранних прохожих, которые появлялись на улице все чаще. Раз или два шаги как будто останавливались – незнакомые люди или соседи, должно быть, рассматривали игрушки и мелкие товары, размещенные на окне лавочки Гепзибы. Она страдала: во-первых, от обуревавшего ее стыда, что посторонние и недоброжелательные люди имеют право смотреть в ее окно, а, во-вторых, от мысли, что эта своеобразная витрина не была убрана так искусно или заманчиво, как могла бы быть. Ей казалось, что все счастье или несчастье ее лавочки зависит от того, как она расставила вещи, заменила ли лучшим яблоком другое, которое было в пятнах; и вот она принималась переставлять свои товары, но тут же находила, что от этой перестановки все становилось только хуже.

Между тем у самой двери встретились двое мастеровых, как можно было заключить по грубым голосам. Поговорив немного о своих делах, один из них заметил окно лавочки и сообщил об этом другому.

– Посмотри-ка! – воскликнул он. – Что скажешь? И на этой улице началась торговля!

– Да! Вот так штука! – подхватил другой. – В старом доме Пинчонов, под древним вязом!.. Кто мог ожидать такого? Старая девица Пинчон открыла лавочку!

– А как ты думаешь, Дикси, пойдет ли у нее дело? – сказал первый. – По-моему, это не слишком выгодное место. Тут сейчас за углом есть другая лавочка.

– Пойдет ли? – произнес Дикси таким тоном, как будто и мысль об этом трудно было допустить. – Куда ей! Она такая странная! Я видел ее, когда работал у нее в саду прошлым летом. Всякий испугается, если вздумает торговаться с ней. Говорю тебе, она все время ужасно хмурится – так, из одной злости.

– И я тоже скажу – куда ей! – согласился его приятель. – Держать лавочку не так-то легко, это я знаю по своему карману. Жена моя держала лавку три месяца, вот только вместо барыша получила пять долларов убытка!

– Плохо дело! – ответил Дикси. – Плохо дело!..

Трудно объяснить почему, только мисс Гепзиба, несмотря на все пережитые ею мучения из-за необходимости начать торговлю, едва ли когда-нибудь испытывала

более горькое чувство, чем то, что было возбуждено в ней этим разговором. Слова о ее нахмуренном виде имели для нее ужасный смысл: с образа мисс Пинчон, какой она сама себя видела, вдруг спала обманчивая пелена, и ей представилась истина. Гепзиба была потрясена неблагоприятным впечатлением, которое произвела открытая ею лавочка на публику в лице этих двух ее представителей. Они только взглянули на нее в окно, промолвили два слова мимоходом, засмеялись и, без сомнения, позабыли о ней прежде, чем повернули за угол. Но предсказание неудачи пало на ее полумертвую надежду так тяжело, как падает земля на гроб, опущенный в могилу. Жена этого человека пробовала тот же промысел и понесла убытки. Как же могла она — затворница, совершенно неопытная в житейских делах, — как могла она мечтать об успехе, когда простолюдинка, расторопная, деятельная, бойкая уроженка Новой Англии, потеряла пять долларов на своей торговле! Успех представлялся ей невозможным, а надежда на него — нелепым самообольщением.

Какой-то злой дух, изо всех сил стараясь сбить Гепзибу с толку, развернул перед ее мысленным взором нечто вроде панорамы большого торгового города, населенного купцами. Какое множество великолепных лавок! Колониальные товары, игрушки, магазины с материями, с их огромными витринами, великолепными полками, правильно разложенными товарами и эти благородные зеркала в глубине каждого магазина, удваивавшие их богатство в прозрачной глубине своей! И в то время, когда на одной стороне улицы старая мисс Пинчон видела этот роскошный рынок, со множеством раздушенных купцов, улыбающихся, смеющихся, кланяющихся и меряющихся материи, — на другой ей представлялся мрачный Дом с семью шпилями, окно старенькой лавочки под выступом верхнего этажа и сама она в платье из плотной материи за contadorкой, хмурящаяся на проходящих мимо людей! Этот разительный контраст неотступно возникал у нее перед глазами. Успех? Нелепость! Она никогда больше не станет ожидать его! Дом ее покроет вечная мгла, в то время как другие дома будут сиять в лучах солнца. Ни одна нога не переступит через ее порог, ни одна рука не решится отворить дверь!

Но в ту самую минуту, когда она так думала, над ее головой зазвенел колокольчик, точно силой какого-то колдовства. Сердце старой леди было словно прикреплено к той же самой стальной пружине, потому что оно дрогнуло несколько раз подряд, вторя звукам колокольчика. Дверь начала отворяться, хотя за окном не было заметно фигуры человека. Гепзиба ждала со сложенными на

груди руками. «Господи, помоги мне! – взывала она мысленно. – Испытание мое началось!»

Дверь, с трудом поворачиваясь на своих скрипучих заржавевших петлях, уступила наконец усилиям входившего, и перед Гепзибай появился толстый мальчуган с красными, как яблоки, щеками. На нем был какой-то потрепанный синий балахон, очень широкие и короткие штаны, башмаки со стоптанными каблуками и изношенная соломенная шляпа, сквозь дыры которой пробивались его курчавые волосы. Книжка и небольшая аспидная доска под мышкой говорили о том, что он шел в школу. Он смотрел несколько мгновений на Гепзибу, как сделал бы и более взрослый покупатель, не зная, что ему думать о трагической позе и сурово нахмуренных бровях, с которыми она в него всматривалась.

– Что ты, дитя мое? – сказала мисс Пинчон, ободрившись при виде столь неопасной особы. – Что тебе нужно?

– Вот этот Джим Кроу, что на окне, – ответил мальчуган, держа в руке медную монету и указывая на пряничную фигуру, которая ему приглянулась, когда он плелся по улице в свою школу. – Тот, что с целыми ногами.

Гепзиба протянула свою худую руку и, достав фигурку, отдала покупателю.

– Не нужно денег, – сказала она, слегка подтолкнув его к двери, потому что ей казалось мелочностью забрать у мальчика его карманные деньги за кусок черствого пряника. – Я дарю тебе Джима Кроу.

Ребенок, выпучив на нее глаза при этой неожиданной щедрости, какой он никогда еще не встречал в подобных лавочках, взял пряничного человека и отправился своей дорогой. Но едва он очутился на тротуаре, как голова Джима Кроу уже была у него во рту. Так как он не позаботился притворить за собой дверь, то Гепзибе пришлось сделать это самой, причем не обошлось без нескольких сердитых замечаний о несносности «этих мальчишек». Она только поставила другого Джима Кроу на окно, как снова громко зазвенел колокольчик, отворилась дверь с характерным своим скрипом и дребезжанием, и опять показался тот же самый дюжий мальчуган, который не больше двух минут назад оставил лавочку. Крошки и краска от пиршества, которое он себе только что задал, были видны, как нельзя явственнее, вокруг его рта.

– Что тебе еще надо? – спросила лавочница с сильным нетерпением. – Ты вернулся затворить дверь, что ли?

– Нет, – ответил мальчуган, указывая на фигуру, которая только что была выставлена в окне. – Дайте мне вон того, другого Джима Кроу.

– Хорошо, возьми, – сказала Гепзиба, доставая пряник, но, видя что этот нахальный покупатель не оставит ее в покое, пока у нее в лавочке будут пряничные фигурки, она отвела в сторону свою протянутую руку и спросила: – Где же деньги?

Деньги у мальчика были наготове, но он не без видимого сожаления положил монету в руку Гепзибы и покинул лавочку, отправив второго Джима Кроу туда же, что и первого.

Новая торговка опустила свою первую выручку в денежный ящик. Дело совершилось. Теперь, Гепзиба, ты уже не леди – ты просто Гепзиба Пинчон, одинокая старая дева, содержательница мелочной лавочки!

И, однако, даже в то время, когда в ее голове возникали такие мысли, в сердце ее поселилась какая-то тишина, и мрачные предчувствия, которые мучили ее во сне и наяву с тех самых пор, как она приняла решение открыть лавочку, теперь исчезли совершенно. Правда, она все еще чувствовала новизну своего положения, но уже без волнения и страха. Время от времени душа ее испытывала даже нечто похожее на радость. Это происходило оттого, что после стольких лет затворничества в ее жизнь ворвался свежий ветерок. Так живительна деятельность, так дивна сила, которой мы часто сами в себе не ощущаем! Энергия, которой давно уже не чувствовала в себе Гепзиба, возродилась в ней в момент кризиса, когда она впервые протянула руки, чтобы спасти себя. Небольшая медная монета школьника превратилась в благодетельный талисман, заслуживший того, чтобы оправить его в золото и носить на груди. Во всяком случае, именно его незаметному действию Гепзиба была обязана переменой, которую она чувствовала в теле и душе, тем более что он придал ей сил позавтракать.

Первый день ее новой жизни, впрочем, прошел не без затруднений. Прежняя апатия не раз грозила овладеть Гепзибой снова. Так густые массы облаков часто омрачают небо, распространяя повсюду серый полусвет, наконец, перед наступлением ночи, он на время уступает яркому сиянию солнца, но

завистливые тучи постоянно стремятся закрыть небесную лазурь своими мутными массами.

До наступления полудня изредка появлялись новые покупатели, но в ящик было опущено не слишком много денег. Маленькая девочка, посланная матерью купить ниток известного цвета, взяла моток, который близорукой старой леди показался совершенно таким, какой был нужен, но скоро прибежала назад с сердитым наказом от матери, что нитки не того цвета и притом совсем гнилые. Потом пришла бледная, измученная трудами женщина, еще не старая, но с суровым выражением лица и уже с проседью в волосах – одна из тех нежных от природы женщин, в которых вы тотчас узнаете страдалицу, уставшую от нищеты и семейных горчений. Ей нужно было несколько фунтов муки. Гепзиба отказалась брать у нее деньги и дала женщине даже больше муки, чем та просила. Вскоре после этого явился мужчина в синем засаленном пальто и купил трубку, наполнив всю лавочку сильным запахом крепких напитков, который не только вырывался у него изо рта, но и струился изо всех пор, подобно горючему газу. Гепзиба подумала, не муж ли это изнуренной трудами женщины. Он попросил табаку, но так как мисс Пинчон не позаботилась обзавестись этим товаром, то грубый покупатель бросил на пол купленную им трубку и вышел из лавочки, бормоча какие-то ругательства. Гепзиба подняла глаза к небу.

Не меньше пяти человек до обеда спрашивали имбирное пиво или какой-нибудь другой напиток покрепче и, не обнаружив ничего подобного, удалялись с величайшим неудовольствием. Троє из них распахнули дверь настежь, а двое, выходя, хлопнули ею так, что колокольчик сыграл настоящий дuet с нервами Гепзибы. Однажды в лавочку ворвалась круглая, хлопотливая и раскрасневшаяся от кухонного огня служанка из соседнего дома и нетерпеливо попросила дрожжей, и, когда бедная леди с холодной робостью объявила ей, что у нее дрожжей нет, бойкая кухарка прочитала ей наставление:

– Мелочная лавочка без дрожжей! Да где же такое видано? Ну, не подняться вашему тесту, как и моему сегодня! Лучше закройте свою лавочку.

– Да, – ответила с глубоким вздохом Гепзиба, – так, наверно, и вправду было бы лучше.

Кроме этих неприятных случаев, бедная мисс Пинчон была поражена фамильярным, если даже не грубым тоном, с каким к ней обращались покупатели. Они считали себя не только равными ей, но даже вели себя так,

будто покровительствовали ей. Гепзиба бессознательно тешила себя надеждой, что ее особу будет отличать какое-нибудь особенное звание, которое выражало бы почтение к ней, или, по крайней мере, что это почтение будет проявляться без слов. Но, с другой стороны, ничто не мучило ее так жестоко, как чрезсчур резкое выражение этого почтения. Несколько покупателям, слишком уж щедрым на сочувствие, она отвечала очень отрывисто и сурово, а к одному, который, как ей показалось, зашел в лавочку не для покупок, а из злого желания поглядеть на нее, она и вовсе отнеслась с презрением. Бедняге вздумалось посмотреть, что, дескать, за барышня такая вздумала на заре своих дней сесть за конторкой. На этот раз нахмуренные брови Гепзибы очень ей пригодились.

– Никогда еще в жизни я не был так испуган! – говорил любопытный покупатель, описывая это приключение своему знакомому. – Это настоящая старая ведьма, честное слово, ведьма! Говорит она мало, но посмотрел бы ты, какая злость у нее в глазах!

Вообще новый жизненный опыт привел Гепзибу к весьма неприятным заключениям касательно характера низших слоев общества, на которые она до сих пор взирала с благосклонностью и состраданием, так как сама вращалась в сфере неоспоримо высшей. Но, к несчастью, она вынуждена была бороться в то же время с сильным душевным волнением противоположного рода: мы говорим о чувстве неприязни к высшему сословию, принадлежностью к которому она еще недавно так гордилась. Когда какая-нибудь леди в нежном и дорогом летнем костюме, с развевающейся вуалью и в изящно драпированном платье, одаренная притом такой легкой поступью, что вы невольно обратили бы взор на ее изящно обутые ножки, как бы желая удостовериться, касается ли она земли или порхает по воздуху, – когда такое видение появлялось на ее уединенной улице, оставляя после себя нежный, привлекательный аромат, как будто пронесли букет китайских роз, нахмуренность старой Гепзибы едва ли можно было объяснить близорукостью.

И потом, устыдившись самой себя и раскаявшись, она закрывала руками лицо и говорила:

– Да простит меня Господь!

Приняв во внимание все события утра, Гепзиба начала опасаться, что лавочка повредит ей в нравственном отношении и едва ли принесет существенную пользу в отношении финансовом.

## Глава IV. День за contadorкой

Около полудня Гепзиба увидала проходившего мимо по противоположной стороне побелевшей от пыли улицы пожилого джентльмена, дородного и крепкого, с важными манерами. Он остановился в тени древнего вяза и, сняв шляпу, чтобы отереть выступивший у него на лбу пот, рассматривал, по-видимому, с особенным любопытством обветшалый Дом с семьёй шпилями. От него самого в некотором роде веяло такой же почтенной стариной, как и от этого дома. Вряд ли возможно было отыскать более совершенный образец респектабельности, которая необъяснимым образом выражалась не только в его взгляде и жестах, но и даже в покрове его платья. Его костюм с виду совсем не отличался от костюмов прочих людей, но носил на себе печать какой-то особенной важности, которая происходила, вероятно, от характера самого владельца. Его трость с золотым набалдашником – уже подержанный посох из черного полированного дерева – отличалась тем же характером. Этот характер, проявлявшийся в одежде и манерах этого господина, ясно говорил о его положении в свете, привычках, жизни и внешних обстоятельствах. В нем тотчас видна была особа знатная и сильная; а что он помимо прочего еще и богат – это было так же очевидно для всякого, как если бы он показал банковские билеты или на ваших глазах коснулся ветвей вяза и обратил их в золото.

В молодости своей он, вероятно, был необыкновенно красивым человеком. Теперь же брови его были так густы, волосы так жидки и серы, глаза так холодны, а губы так тесно сжаты, что о красоте говорить не приходилось.

Когда пожилой джентльмен смотрел на дом Пинчонов, угрюмость и улыбка поочередно сменялись на его лице. Взгляд его остановился на окне лавочки. Надев на нос оправленные в золото очки, которые он держал в руке, он внимательно рассмотрел маленькую выставку игрушек и других товаров Гепзибы. Сперва она ему как будто не понравилась, но потом он засмеялся. Улыбка не оставила еще его лица, когда он заметил Гепзибу, которая невольно наклонилась к окну, и смех его из едкого и неприятного превратился в снисходительный и благосклонный. Он поклонился ей с достоинством и учтивой любезностью и продолжил свой путь.

– Это он! – сказала себе Гепзиба, подавляя глубочайшее волнение; она была не в состоянии освободиться от этого чувства. – Желала бы я знать, что он думает об этом, нравится ли ему?.. Ах! Он оборачивается!

Джентльмен остановился на улице и, повернув голову, опять глядел на окно лавочки. Он даже сделал шаг или два назад, как бы с намерением зайти в лавочку, но так случилось, что его опередил первый покупатель мисс Гепзибы, истребивший двух пряничных негров. Мальчуган остановился напротив окна. Казалось, неодолимая сила влекла его к пряничному слону. Что за аппетит у этого мальчишки! Съел пару негров тотчас после завтрака, а теперь подавай ему слона вместо закуски перед обедом! Но прежде чем эта новая покупка была сделана, пожилой джентльмен отправился своей дорогой и повернул за угол улицы.

— Понимайте это, как вам угодно, кузен Джейффи! — пробормотала про себя старая леди, когда он удалился, высунув, однако, сначала голову в форточку и осмотрев улицу. — Понимайте, как вам угодно! Вы видели окно моей лавочки — что же? Что вы можете против этого сказать? Разве дом Пинчонов не моя собственность, пока я жива?

После этого Гепзиба удалилась в заднюю комнату, где она сегодня впервые принялась за недовязанный чулок, и начала работать, то и дело нервно вздрагивая. Скоро, однако, работа ей наскутила, она отбросила ее в сторону и стала ходить по комнате; наконец остановилась перед портретом мрачного старого пуританина, своего предка и основателя дома. В одном отношении это изображение почти скрылось под вековой пылью, в другом — Гепзибе казалось, что оно не было яснее и выразительнее даже во времена ее детства, когда она, бывало, рассматривала его. В самом деле, между тем как очертания лица и краски почти стерлись, суровый характер оригинала, казалось, обрел в этом портрете какую-то рельефность. Подобное явление нередко случается замечать в портретах отдаленного времени. Они приобретают выражение, которое художник (если только он был похож на угодливых художников нашей эпохи) и не думал придавать изображаемой им особе, но которое с первого взгляда открывает нам истину души человеческой. Это значит, что глубокое понимание художником черт характера оригинала выразилось в самой сущности живописи и проявилось тогда только, когда наружный колорит был изглажен временем.

Глядя на портрет, Гепзиба дрожала. Почтительность по отношению к этому изображению не позволяла ей строго судить о характере оригинала, несмотря на то, что в глубине души она сознавала истину. Женщина продолжала, однако же, смотреть на портрет, потому как это лицо было поразительно схоже — по крайней мере ей так казалось — с тем лицом, которое она только что видела на улице.

— Точь-в-точь как он! — бормотала она себе под нос. — Пускай Джейффири Пинчон смеется сколько хочет, но под его смехом вот что скрывается. Надень только на него шлем да черный плащ и дай в одну руку шпагу, а в другую Библию, и тогда — пускай себе смеется Джейффири — никто не усомнится, что старый Пинчон явился снова! Он доказал это тем, что построил новый дом.

Гепзиба так долго жила одна в доме Пинчонов, что ее ум проникся его преданиями. Ей нужно было пройтись по освещенной сиянием дня улице, чтобы освежить мысли. Тут, словно по волшебству, в воображении Гепзибы появился другой образ, написанный нежными и воздушными красками. Миниатюра Мальбона была нарисована с того же оригинала, но сильно уступала этому образу, оживленному любовью и грустным воспоминанием, тихому и задумчивому, с полными, алыми губами, готовыми к улыбке, о которой предупреждали глаза со слегка приподнятыми веками, и с чертами, в которых проглядывала едва уловимая женственность. В миниатюре тоже есть эта особенность, поэтому нельзя не подумать, что оригинал был похож на свою мать, а она была любящей и любимой женщиной, которую отличала, может быть, некая нетвердость характера, но оттого ее только больше любили.

«Да, — подумала Гепзиба с грустью, и две слезинки выступили у нее на глазах. — Они преследовали в нем его мать! Он никогда не был Пинчоном!»

Но тут из лавочки донесся звон колокольчика. Гепзибе показалось, что он звучит Бог знает как далеко, так она углубилась в погребальный склеп воспоминаний. Войдя в лавочку, она обнаружила там еще одного смиренного жителя улицы Пинчонов — старика, который навещал ее с давних пор. Это был человек поистине древний; его всегда знали седым и морщинистым, и всегда у него был только один зуб во рту, сверху, и тот наполовину сломанный. Как ни стара была сама Гепзиба, но она не помнила такого времени, когда бы дядюшка Веннер, как называли его в окрестностях, не бродил взад-вперед по улице, немножко прихрамывая и волоча свою ногу по булыжникам мостовой. Но у него при этом было столько сил, что он не только мог держаться на ногах целый день, но и занимал в обществе особое место, которое в ином случае оставалось бы вакантным, несмотря на густонаселенность мира. Отнести письмо, тяжело переступая дряхлыми ногами, которые заставляли сомневаться в том, что он когда-нибудь достигнет цели своего похода; распилить бревно или нарубить дров для какой-нибудь кухарки, или разбить в щепки негодный к употреблению бочонок; летом вскопать несколько ярдов садовой земли; зимой очистить тротуар от снега или проложить тропинку к сараю или прачечной — такими были

существенные услуги, которые дядюшка Веннер оказывал, по меньшей мере, двадцати семействам. В этом кругу он имел притязание на благодарность и любовь. Он не мечтал о каких-то выгодах, но каждое утро обходил окрестности, собирая остатки хлеба и другой пищи.

В свои лучшие годы – потому что все-таки существовало темное предание, что он был... не молод, но по крайней мере моложе, чем сейчас, – дядюшка Веннер считался человеком не слишком сметливым. Действительно, о нем можно было это сказать, потому как он редко стремился к успехам, которых добиваются другие люди, и всегда принимал на себя в житейских делах ничтожную и смиренную роль. Но теперь, в престарелом возрасте – потому ли, что его умудрил опыт долгой и тяжкой жизни, или потому, что его слабый рассудок не позволял ему прежде оценить себя по достоинству, – этот человек всерьез претендовал на ум. В нем время от времени обнаруживалась, так сказать, некая поэтическая жилка: то был мох и пустынные цветы на его маленьких развалинах; они придавали прелесть тому, чтобы могло называться грубым и пошлым в раннюю пору его жизни. Гепзиба оказывала ему внимание, потому что его имя было одним из самых древних в городе и некогда пользовалось уважением; но в первую очередь право на ее почтительное отношение Веннеру давало то обстоятельство, что он был самым старым среди всех одушевленных и неодушевленных предметов на улице Пинчонов, за исключением разве что Дома с семьёй шпилями и, может быть, раскидистого вяза.

Этот-то патриарх и предстал теперь перед Гепзибой в старом синем фраке, который напоминал современные моды и, вероятно, достался ему после раздела гардероба какого-нибудь умершего пастора. Что касается его штанов, то они были из толстого пенькового холста, очень короткие спереди и висевшие странными складками сзади, но неплохо сидели на его фигуре, чего нельзя было сказать об остальном его платье. Например, его шапка совсем не сочеталась с костюмом. Дядюшка Веннер казался сотканным из лоскутов разных эпох с их разными обычаями.

– Так вы и в самом деле принялись за торговлю? – обратился он к Гепзибе. – Всерьез принялись? Что ж, я очень рад. Молодые люди не должны жить праздно, впрочем, так же, как и старые, до тех пор пока ревматизм не одолеет. Он постоянно мне о себе напоминает, и я подумываю года через два оставить дела и удалиться на свою ферму. Она вон там; знаете, большой кирпичный дом – рабочий дом, как его еще называют. Но я сперва хочу потрудиться, а потом уже уйти на покой. Очень, очень рад, что вы тоже взялись за дело, мисс Гепзиба!

– Благодарю вас, дядюшка Веннер, – с улыбкой сказала Гепзиба, потому что она всегда чувствовала расположение к этому простоватому и болтливому старику. – В самом деле, пора и мне взяться за дело! Хотя, можно сказать, что я начинаю тогда, когда должна была бы закончить...

– Не говорите так, мисс Гепзиба, – возразил старик. – Вы еще молоды. Мне сдается, я еще совсем недавно видел, как вы малюткой играли у дверей дома! Чаще, однако же, вы сидели на пороге и смотрели с серьезным видом на улицу; вы всегда были серьезным ребенком – даже тогда, когда едва еще доставали до моего колена. Я до сих пор будто вижу вас ребенком перед собой и вашего дедушку в его красном плаще, и в белом парике, и в заломленной шляпе. Вижу вот, как он с тростью в руке выходит из дома и важной походкой идет по улице! У старых джентльменов был важный вид... В лучшие мои годы сильного в городе человека обыкновенно называли джентльменом, а жену его – леди. Я встретил вашего кузена, судью, минут десять назад, и, несмотря на то, что на мне, как видите, старое отрепье, судья снял передо мной шляпу, как мне показалось. По крайней мере он поклонился и улыбнулся.

– Да, – произнесла Гепзиба с какой-то невольной горечью в голосе. – Мой кузен Джейфри считает, что у него очень приятная улыбка.

– А что? Это и в самом деле так! – ответил дядюшка Веннер. – И это чудесно, потому что, с вашего позволения, мисс Гепзиба, Пинчоны никогда не слыши ласковыми и приятными людьми. С ними невозможно было заговорить. Но почему, мисс Гепзиба, – если позволите старику такую смелость, – почему бы судье Пинчону при его средствах не зайти к вам и не попросить тотчас закрыть вашу лавочку? Конечно, для вас в этой торговле есть выгода, но для судьи – ровным счетом никакой!

– Не будем об этом, дядюшка Веннер, – холодно попросила Гепзиба. – Впрочем, я должна сказать, что если я и решилась зарабатывать себе на хлеб, то виной этому отнюдь не судья Пинчон. Он также не заслуживал бы порицания, если я, – прибавила она несколько ласковее, вспоминая привилегии старости и простой фамильярности дядюшки Веннера, – если бы я окончательно убедилась в том, что мне нужно удалиться вместе с вами на вашу ферму.

– Да, моя ферма – недурное mestечко! – воскликнул старик добродушно, как будто в этом плане было что-то невероятно радостное. – Большой кирпичный дом... Особенno для тех, кто найдет там старых приятелей, как вот я. Меня

давно уже к ним тянет, особенно в зимние вечера, потому что скучно одинокому старику дремать часами напролет без единого товарища, кроме горящей на очаге головни! Многое можно сказать в пользу моей фермы – как в летнюю, так и в зимнюю пору. А возьмите вы осень – что может быть приятнее, чем проводить целый день под теплым солнцем на куче бревен с таким же старичком, как я сам, или, пожалуй, с каким-нибудь простаком, который умеет только лениться и балагурить? Право, мисс Гепзиба, я не знаю, где бы мне было так спокойно, как на моей ферме, которую называют рабочим домом. Но вы – вы еще молоды – вам нечего думать о ней. На вашу долю может выпасть что-нибудь получше. Я в этом уверен!

Гепзибе показалось, что во взгляде и в тоне ее почтенного друга есть что-то особенное. Она смотрела пристально ему в лицо, стараясь угадать, какая тайная мысль – если только она была – сквозит в его чертах. Люди, оказавшись в отчаянном положении, часто тешат себя надеждами, которые тем великолепнее и фантастичнее, чем меньше у них в руках остается твердого материала, для того чтобы вылепить какое-нибудь вполне резонное ожидание благоприятной перемены. Так и Гепзиба, строя планы торговли, постоянно питала в душе надежду, что фортуна устроит ей какой-нибудь необыкновенный сюрприз. Например, дядя, отплывший в Индию пятьдесят лет назад и пропавший без вести, может вдруг вернуться, сделать ее утешением своей глубокой и очень дряхлой старости, украсить ее жемчугом, алмазами, восточными шальми и тюбанами и завещать ей свое несметное богатство. Или член парламента, глава английской ветви ее рода – с которой старшее поколение по эту сторону Атлантического океана не имело никаких сношений в течение последних двух столетий, – может написать Гепзибе, чтобы она оставила ветхий Дом с семью шпилями и переехала жить к родным в Пинчон-холл. Впрочем, по важным причинам она не смогла бы принять это приглашение. Поэтому гораздо вероятнее, что потомки Пинчона, которые когда-то переселились в Вирджинию и стали там богатыми плантаторами, узнав о жалкой участи Гепзибы, пришлют ей вексель в тысячу долларов с обещанием высыпать по стольку же ежегодно. Или великкая тяжба о наследстве графства Вальдо может, наконец, быть решена в пользу Пинчонов, так что, вместо того чтобы торговать в лавочке, Гепзиба построит дворец и будет смотреть из его высочайшей башни на холмы, долины, леса, поля и города, составляющие ее владения.

Таковы были некоторые из фантазий, которыми она давно уже утешалась. Под их влиянием попытка дядюшки Веннера ободрить ее озарила странным

торжественным светом убогие, пустые и печальные комнаты ее ума. Но или стариk ничего не знал о ее воздушных замках – да и откуда ему было знать, – или ее пристальный, нахмуренный взгляд прервал его приятные воспоминания, как могло бы случиться и с человеком похрабрее, – только дядюшка Веннер вместо того, чтобы приводить еще более веские доводы благоприятного положения Гепзибы, счел за благо снабдить ее несколькими мудрыми советами касательно ее нового ремесла.

– Не давайте никому в долг! – Таким было одно из его золотых правил. – Никогда не принимайте векселя! Хорошенько пересчитывайте сдачу! Серебро должно иметь чистый звон! Отдавайте обратно английские полупенсы и медную монету! На досуге вяжите детские чулочки и рукавички! Заправляйте сами для своей лавочки дрожжи и пеките сами пряники!

Пока Гепзиба силилась переварить жесткие пилюли его глубокой мудрости, он в заключение своей речи привел два следующих, по его мнению, весьма важных, совета:

– Встречайте своих покупателей с веселым видом и улыбайтесь им со всей любезностью, подавая то, что они попросят! Залежавшийся товар, если вы подадите его с добродушной, теплой, солнечной улыбкой, покажется им лучше, чем самый свежий, но сунутый в руки с суровым видом.

На это последнее изречение бедная Гепзиба ответила таким глубоким и тяжелым вздохом, что дядюшка Веннер чуть не отлетел в сторону, как сухой листок от дыхания осеннего ветра. Оправившись, однако, от смущения, он опять подался вперед и прошептал ей с особенным чувством, которое отразилось на его старом лице:

– Когда вы ждете его домой?

– Кого? – спросила, побледнев, Гепзиба.

– Ах! Вы не любите говорить об этом, – сказал дядюшка Веннер. – Ладно, ладно, не будем больше болтать, хотя о нем толкуют кое-что в городе. Я помню, каким он был, мисс Гепзиба, еще до отъезда!

Оставшуюся часть дня бедная Гепзиба играла роль торговки с еще меньшей уверенностью, чем утром. Она как будто жила во сне или, вернее, делала все полубессознательно. Она продолжала вскакивать на зов колокольчика, продолжала по требованиям своих покупателей обводить блуждающим взглядом

лавочку, подавать им то одну, то другую вещь и откладывать в сторону — наперекор им, как многие думали, — именно то, что они просили. В самом деле, когда мысли человека устремлены в прошлое или в будущее, он неизбежно бывает подвержен печальному замешательству. Как будто по воле злой судьбы, в эти послеобеденные часы, как нарочно, покупатели один за другим приходили в лавочку. Гепзиба металась туда-сюда по тесной комнатке, совершая множество неслыханных промахов: иной раз она отсчитывала на фунт двенадцать сальных свечек, а в другой — только семь вместо десяти; продавала имбирь вместо шотландского нюхательного табака, булавки вместо иголок, а иголки вместо булавок; ошибалась в сдаче иногда в ущерб покупателю, но чаще себе в убыток, и так продолжалось, пока наконец не наступил вечер и она, к своему изумлению, не обнаружила, что ящик для денег почти пуст. Вся ее торговля принесла ей за день, может быть, полдюжины медных монет и подозрительный шиллинг, который вдобавок оказался медным.

Этой ценой, или какой бы то ни было другой, она купила наконец удовольствие встретить конец дня. Никогда прежде время между рассветом и закатом солнца не тянулось для нее так долго; никогда она не испытывала досадной необходимости трудиться; никогда еще не чувствовала так ясно, что лучше всего для нее было бы покориться судьбе, сдаться, упасть и позволить жизни с ее трудами и горестями катить свои волны через распостертое тело изнемогшей жертвы.

Последнюю свою сделку Гепзиба заключила с маленьким истребителем пряничных фигурок. На этот раз он попросил верблюда. В своем замешательстве, она отдала ему на съедение сперва деревянного драгуна, а потом горсть мраморных шариков, но так как ни один из этих предметов не пришелся ему по вкусу, то она торопливо схватила последние остатки естественной истории в виде пряников, вручила их маленькому покупателю и выпроводила его из лавки. Потом обернула колокольчик недовязанным чулком и задвинула на двери дубовый засов.

Во время этой процедуры под ветвями вяза остановился омнибус. Сердце Гепзибы сильно затрепетало. Отдаленной и покрытой сумраком была эпоха, когда она ждала и не дождалась к себе единственного гостя, на чей приезд можно было рассчитывать: неужели она увидит его теперь?

Во всяком случае, кто-то вылезал из глубины омнибуса к выходу. Тут на землю спустился джентльмен, но только для того, чтобы предложить свою руку

молодой грациозной девушке, которая, нисколько не нуждаясь в такой помощи, легко спустилась по ступенькам и спрыгнула с последней ступеньки на тротуар. Она наградила своего кавалера улыбкой, и тот с радостным видом возвратился в омнибус. Девушка обернулась к Дому с семьёй шпилями, у входа в который – не у двери лавочки, а у старинного портала – кондуктор положил легкий сундук и картонную коробку. Постучав в дверь дома старым железным молотком, он оставил свою пассажирку и ее багаж и отправился восвояси.

«Кто же она такая? – думала Гепзиба, изо всех сил напрягая зрение. – Видно, ошиблась домом!» Мисс Пинчон тихо прокралась в переднюю и, оставаясь невидимой, стала смотреть сквозь мутное боковое оконце возле портала на молодое, цветущее и чрезвычайно веселое лицо девушки, ожидавшей приема в пасмурном, старом доме. Это было такое лицо, перед которым каждая дверь отворилась бы добровольно.

Девушка, такая свежая, непосредственная, и при этом, как вы сейчас увидите, такая уживчивая и покорная, являла собой разительный контраст со всем, что ее окружало. Грубый камыш, который рос в углах дома, тяжелый выступ верхнего этажа и обветшалый навес над дверью – все это казалось несовместимым с ней. Но, подобно тому, как солнечный луч, куда бы он ни упал, тотчас представляет все в новых красках, все здесь вмиг получило иное выражение – как будто для того и устроено было, чтобы эта девушка стояла на пороге этого дома. Невозможно было допустить и мысли, чтобы его дверь не отворилась перед ней. Даже старая леди вскоре почувствовала, что надо открыть дверь, и повернула ключ в заржавевшем замке.

«Уж не Фиби ли это? – спрашивала она сама себя. – Верно, это маленькая Фиби, больше некому, притом она как будто напоминает своего отца! Но что ей здесь нужно? И как моя деревенская кузина могла нагрянуть ко мне вот так, не известив меня даже за день до приезда и не узнав, будут ли ей здесь рады? Но она, верно, только переночует и вернется завтра к своей матери».

Фиби, как уже понятно, была молодым побегом того поколения Пинчонов, которое поселилось в деревенском захолустье Новой Англии, где до сих пор свято соблюдались старые обычаи и чтились родственные чувства. В ее кругу вовсе не считалось неприличным навестить родственника без приглашения или предварительного уведомления. Впрочем, из уважения к затворнической жизни мисс Гепзибы, ей все же было написано и отправлено письмо о скором посещении Фиби. Это письмо дня три или четыре назад перешло из конторы в

сумку городского почтальона, но тот, не имея другой надобности заходить на улицу Пинчонов, не счел нужным явиться в Дом с семьёй шпилями.

«Нет, она только переноочует, – решила про себя Гепзиба, отворяя дверь. – Если Клиффорд застанет ее здесь, это будет ему неприятно!»

### Глава V. Май и ноябрь

Фиби Пинчон в ночь своего прибытия была помещена в комнате, выходившей окнами в сад, расположенный позади дома. Окна смотрели на восток, так что в самый ранний час утра красный свет лился в комнату, окрашивая в багряные тона темный потолок и бумажные обои. Постель Фиби была снабжена занавесками, или, лучше сказать, мрачным старинным балдахином с тяжелыми фестонами<sup>5</sup>. Этот балдахин в свое время был роскошен и великолепен, но теперь висел над девушкой, как туча, не пропуская свет. Впрочем, утренняя заря все же прокралась в щель между полинялых занавесок у основания кровати и, найдя под ними новую гостью с щеками такими же румяными, как и само утро, поцеловала ее чело. То была ласка, какую старшая сестра оказывает младшей – отчасти побуждаемая горячей любовью, а отчасти в знак нежного напоминания, что пора открыть глаза.

Почувствовав прикосновение розовых уст зари, Фиби тотчас проснулась и сначала не могла понять, где она. Ей было совершенно ясно только то, что наступило утро, а потому надо встать и помолиться. Она почувствовала тягу к молитве уже от одного угрюмого вида комнаты и мебели в ней, особенно высоких жестких стульев. Один из них стоял возле самой ее постели и имел такой вид, как будто на нем всю ночь сидел какой-то человек из прошлого века и только что исчез из виду.

Одевшись, Фиби выглянула в окно и увидела в саду розовый кустарник. Очень высокий и разросшийся, со стороны дома он был подперт жердями и весь усыпан прекраснейшими белыми розами. Они по большей части, как девушка увидела после, были изъедены червями или увяли от времени, но издали кустарник казался перенесенным сюда прямо из Эдема вместе с почвой, на которой вырос, хотя на самом деле его посадила Элис Пинчон, прарабушка Фиби, а земля была старой. Однако же цветы источали изумительно свежий и

<sup>5</sup> Фестон – один из выступов зубчатой каймы по краям штор, занавесок, по подолу женского платья и т. п.

сладкий аромат. Фиби сбежала вниз по скрипучей, не покрытой ковром лестнице, вышла в сад, нарвала букет самых роскошных цветов и принесла его в комнату.

Маленькая Фиби была в исключительной степени одарена хозяйственностью и вместе с тем способностью преображать все вокруг. Благодаря этому необычайному умению она привносила уют и комфорт в любое место, где ей случалось жить, пусть даже короткое время. Простой шалаш из хвороста, построенный путешественниками в диком лесу, стал бы похож на дом после одного ночлега в нем такой женщины. Не менее волшебное превращение испытала теперь и эта пустая, унылая и мрачная комната, в которой так давно уже никто не жил, кроме пауков, мышей и привидений, и которая повсеместно носила следы опустошения — этой враждебной силы, стирающей все напоминания о счастливейших часах жизни человека.

В чем именно состояли заботы Фиби, определить невозможно. Она, по-видимому, не строила предварительно никаких планов насчет того, какие действия ей следует предпринять, но коснулась одного, другого угла комнаты, переставила некоторую мебель на свет, а другую отодвинула в тень, подняла или опустила оконную штору и за какие-нибудь полчаса успела придать всей комнате приятный и гостеприимный вид. Не далее как вчера эта комната еще походила на сердце старой Гепзибы, потому что в ней также не было ни солнечного света, ни согревающего домашнего огня, и, кроме привидений и мрачных воспоминаний, много лет уже ни один гость не забредал ни в сердце старой девы, ни в эту комнату.

В неуловимом очаровании Фиби была вот еще какая особенность. Спальня эта, без сомнения, становилась свидетельницей многих различных сцен человеческой жизни: здесь пролетали радости брачных ночей, здесь новорожденные делали первый вдох, здесь умирали старики. Но потому ли, что в этой комнате благоухали белые розы, или по какой-нибудь другой причине, только человек тонко чувствующий тотчас понял бы, что это спальня девушки, очищенная от всяких прошлых горестей ее легким дыханием и веселым настроением. Яркие сновидения, которые Фиби видела прошлой ночью, разогнали прежний мрак и сделали эту комнату ее жилищем.

Расставив все вещи так, как ей нравилось, Фиби вышла из комнаты с намерением опять спуститься в сад. Кроме розового кустарника, она заметила там и некоторые другие дико растущие цветы. Но наверху лестницы она

встретила Гепзибу, которая – так как было еще очень рано – пригласила ее в комнату. Француженка назвала бы эту комнату своим будуаром. В ней находились рабочий ящик и потемневший письменный стол со старыми книгами, а в одном из углов стояла странного вида черная вещь, которую старая леди называла клавикордами<sup>6</sup>. Эти клавикорды своим видом напоминали гроб, и так как на них давно уже никто не играл, то музыка, должно быть, умерла в них навеки от недостатка воздуха. К их клавишам, вероятно, не прикасались человеческие пальцы со времен Элис Пинчон, которая развивала свои музыкальные способности в Европе.

Гепзиба попросила свою молодую гостью сесть и, опустившись подле нее на стул, посмотрела на маленькую изящную фигурку девушки так пристально, как будто хотела выведать все ее тайные чувства.

– Кузина Фиби, – произнесла она наконец, – я, право, не знаю, как вам со мной жить!..

Эти слова, однако же, вовсе не заключали в себе негостеприимной грубости, как могло показаться читателю, потому что две родственницы уже успели объясниться друг с другом накануне, перед отходом ко сну. Гепзиба узнала от своей кузины достаточно для того, чтобы понять обстоятельства (сложившиеся в связи с тем, что мать Фиби во второй раз вышла замуж), которые заставили девушку искать приют в другом доме. Она не могла не оценить характер Фиби, отличавшийся необыкновенной предприимчивостью – самая достойная черта в уроженке Новой Англии, – которая и побуждала ее искать счастья, при этом не теряя самоуважения и оберегая свои интересы. Будучи одной из ближайших родственниц Гепзибы, Фиби естественно обратилась к ней, нисколько не настаивая на ее покровительстве, но просто для того, чтобы погостить у нее неделю или две, а если обеим это придется по душе, то остаться на неопределенно долгое время.

Поэтому на грубое замечание Гепзибы Фиби ответила с невозмутимым спокойствием и веселостью:

– Милая кузина, мне, право же, кажется, что мы поладим лучше, нежели вы думаете.

---

<sup>6</sup> Клавикорды – фортепьяно старинного типа четырехугольной формы.

— Вы милая девушка — это я вижу сразу, — продолжала Гепзиба, — и совсем не это меня беспокоит. Просто мой дом — слишком печальное место для такой молодой, как вы, особы. В него проникает ветер и дождь, а зимой даже снегу полно на чердаке и в верхних комнатах, но солнца здесь очень мало. Что касается меня, то вы видите, какова я: угрюмая и одинокая старуха (я сама уже начинаю называть себя старухой, Фиби). К тому же у меня столько причуд, что вы не можете себе и представить. Я не могу сделать вашу жизнь, кузина Фиби, приятной — разве что дам вам кусок хлеба.

— Вы найдете во мне веселую компаньонку, — ответила Фиби с улыбкой и в то же время с достоинством. — Кроме того, я намерена сама зарабатывать себе на хлеб. Вы знаете, что я воспитана не так, как прочие Пинчоны. В новоанглийских деревнях каждая девушка обучается очень многому.

— Ах, Фиби, — сказала со вздохом Гепзиба. — Ваши знания вам мало здесь пригодятся, и потом, тяжело думать, что вы станете проводить свои юные годы в таком месте, как это. Ваши щечки через месяц или через два не будут уже такими розовыми. Посмотрите на мое лицо (в самом деле, контраст был разителен) — вы видите, как я бледна! К тому же, я думаю, что пыль этого старого дома вредна для легких.

— У вас есть сад, есть цветы, за которыми надо ухаживать, — заметила Фиби. — Я буду поддерживать свое здоровье движением на свежем воздухе.

— Да, однако, — сказала Гепзиба, быстро вставая и как будто желая прервать разговор, — не мое дело говорить о том, кто будет или не будет гостем в старом доме Пинчонов: скоро вернется его хозяин.

— Вы имеете в виду судью Пинчона? — спросила Фиби с удивлением.

— Судью Пинчона! — с досадой повторила ее кузина. — Едва ли он переступит через порог этого дома, пока я жива! Нет-нет! Но я вам покажу, Фиби, портрет того, о ком я говорю.

Она ушла за уже описанной нами миниатюрой и вернулась, держа ее в руке. Подавая портрет Фиби, она внимательно наблюдала за выражением ее лица, как будто ревнуя к чувству, которое девушка должна была обнаружить, взглянув на портрет.

— Как вам это лицо? — наконец спросила Гепзиба.

– Прекрасное! Прелестное! – воскликнула Фиби с удивлением. – Это такое привлекательное лицо, какое мужчина может и должен иметь. В нем есть какое-то полудетское выражение, однако же, это не ребячество, оно сразу располагает к себе! Этот человек, мне кажется, никогда не страдал. Каждый, наверно, был готов пойти на многое, лишь бы избавить его от тяжких трудов и горя. Кто это, кузина Гепзиба?

– Разве вы никогда не слышали, – шепнула, наклонившись к ней, Гепзиба, – о Клиффорде Пинчоне?

– Никогда! Я думала, что на свете нет больше Пинчонов, кроме вас и вашего кузена Джейфри, – ответила Фиби. – Впрочем, кажется, я слышала имя Клиффорда Пинчона! Да, от моего отца или матери... Но разве он не умер уже давно?

– Да-да, дитя мое, может быть, и умер! – проговорила Гепзиба с неприятной глухой усмешкой. – Но в старых домах, как этот, мертвые любят селиться! Сами увидите. Итак, раз после всего, что я вам сказала, вы не утратили решимости... Мне приятно, дитя мое, видеть вас в своем доме, каков бы он ни был. – И с этим умеренным, но не совсем холодным уверением в своем гостеприимстве Гепзиба поцеловала девушку в щеку.

Они спустились по лестнице, где Фиби приняла самое деятельное участие в приготовлении завтрака. Хозяйка дома между тем стояла возле нее. Она и хотела бы помочь девушке, но чувствовала, что своей неловкостью только помешает делу. Фиби и огонь, на котором грелся чайник, были одинаково яркими и веселыми. Гепзиба смотрела на свою родственницу так, как будто та была из другого мира; впрочем, она не могла не восхищаться проворством, с каким ее новая сожительница готовила завтрак и управлялась со всеми старинными кухонными принадлежностями. За что бы она ни взялась, все у нее получалось без заметного усилия. Кроме того, она напевала себе под нос, и ее песни были чрезвычайно приятными для слуха. Эта природная певучесть делала Фиби похожей на птичку в тени дерева и внушала наблюдателю мысль, что поток жизни струится через ее сердце, как иногда ручеек струится через прелестную долину. Она обнаруживала веселость деятельного характера, который находит радость в своей деятельности и потому сообщает ей особенную прелесть.

Гепзиба достала несколько старых серебряных ложечек с фамильным вензелем и китайский чайный сервис, расписанный грубыми фигурами людей, птиц и

зверей, окруженных таким же грубым ландшафтом. Эти нарисованные люди жили, по-видимому, очень весело посреди своего блестательного мира, краски которого нисколько не полиняли, хотя чайник и чашки были так же стары, как и сам обычай пить чай.

— Эти чашки были даны в приданое вашей пра-пра-прабабушке, — сказала Гепзиба Фиби. — Она была из очень хорошей семьи — Давенпорт. Это были едва ли не первые чашки, какие только появились в нашей колонии, и если бы одна из них разбилась, то, мне кажется, я бы не пережила этого... Но что за глупость говорить такое о чашках, когда я сама вынесла столько разных горестей!

Чашки, которыми не пользовались, вполне возможно, со временем молодости Гепзибы, покрылись пылью, но Фиби смыла ее с них с такой заботой и осторожностью, что удовлетворила даже саму обладательницу этого сокровища.

— Какая вы, однако, ловкая хозяйка! — воскликнула она, смеясь и в то же время так страшно хмуря брови, что ее смех был похож на сияние солнца под грозовой тучей. — Неужели вы и в других делах такая же мастерица? Так ли вы хорошо управляетесь с книгой, как с чашками?

— Не думаю, — ответила Фиби, смеясь над простодушным вопросом Гепзибы. — Но прошлым летом я была школьной наставницей в нашей деревне и могла бы оставаться до сих пор в этой должности.

— А! Да это чудесно! — воскликнула, повернувшись на своем стуле, Гепзиба. — Но эта способность передалась вам от матери. Я не знаю ни одного Пинчона, который был бы мастером в книжном деле.

Странно, но тем не менее справедливо, что люди так же, или даже больше, тщеславятся своими недостатками, как и достоинствами. Гепзиба при любом удобном случае заявляла о природной нерасположенности Пинчонов к наукам и считала ее наследственной чертой. Может быть, так и было в действительности.

Родственницы еще не окончили завтрак, как из лавочки послышался резкий звонок, и Гепзиба поставила на стол недопитую чашку чая с таким мрачным отчаянием, что на нее и впрямь жаль было смотреть. В занятиях не по вкусу второй день обычно бывает для нас тяжелее первого: мы возвращаемся к делу со всей раздражительностью, в которую нас привели предшествовавшие неприятности. По крайней мере Гепзиба была совершенно уверена, что никогда не привыкнет к этому сердитому звяканью колокольчика. В который бы раз она

его ни слышала, он всегда потрясал своей неожиданностью и резкостью ее нервную систему. Особенно в эту минуту, когда, глядя на старинный китайский фарфор, она услаждала себя мыслями о знатности своего рода, – особенно в эту минуту она чувствовала невыразимое отвращение при мысли о том, что ей придется иметь дело с покупателем.

– Не беспокойтесь, милая кузина! – сказала Фиби, вскочив с места. – Сегодня я буду торговать.

– Ты, ребенок! – воскликнула Гепзиба. – Что смыслит деревенская девочка в таких делах?

– Да кто же, если не я, занималась продажей всех хозяйственных припасов в нашем деревенском амбаре? – возразила Фиби. – У меня даже была будка на ярмарке, и я торговала в ней лучше всякого другого. Этому и учиться нечего – все зависит от сметливости. Вот увидите: я такая же ловкая торговка, как и хозяйка.

Старая леди с недоверчивостью следила за Фиби и время от времени заглядывала из коридора в лавочку, чтобы посмотреть, как девушка справляется с делом, а дело было в ту минуту довольно затруднительным. Какая-то старуха, в белом платье, зеленой кофте и в чем-то вроде чепца на голове, принесла несколько мотков пряжи с намерением обменять их на какие-нибудь товары. Это была, вероятно, последняя женщина в городе, не оставившая еще старинной прядки. Интересно было послушать, как разбитый и глухой голос старухи и милый голосок Фиби сливались в один говор, и еще интереснее – наблюдать контраст между их фигурами: с одной стороны легкость и красота, с другой – дряхлость и бесцветность; в одном отношении их разделяла только конторка, в другом – разница в возрасте больше чем шестьдесят лет. Что касается самого обмена, то здесь опытная хитрость и плутоватость пришли в столкновение с природной прямотой и проницательностью.

– Ну, как вам моя работа? – спросила Фиби, смеясь, когда старуха ушла.

– Прекрасно, дитя мое, прекрасно! – ответила Гепзиба. – Мне бы так не удалось. Правду вы говорите, что все дело здесь в сметливости, которая досталась вам от матери.

Люди, которым нелюдимость или неловкость мешают принять надлежащее участие в шумной деятельности общества, смотрят с неподдельным удивлением

на людей, которые являются настоящими действующими лицами на сцене мира; и до такой степени непонятны им эта решимость и энергичность, что они готовы в угоду своему самолюбию уверять себя, что эти качества несовместимы с другими способностями, которые, по их мнению, гораздо выше и важнее. Так и Гепзиба охотно признала за Фиби превосходство над собой в способности к торговле. Она с удовольствием слушала советы молодой девушки касательно разных способов увеличить прибыль, не рискуя капиталом. Она не мешала Фиби готовить дрожжи, варить пиво и, кроме того, печь для продажи маленькие сладкие пирожки, до такой степени вкусные, что кто их хоть раз отведывал, тот не переставал приходить за ними. Все эти доказательства расторопности в хозяйстве были чрезвычайно приятны для Гепзибы, и она невольно бормотала про себя с кислой улыбкой и со смешанным чувством удивления, жалости и возрастающей привязанности к родственнице:

— Что за милая малютка! Если бы только она была леди! Но это невозможно! Фиби пошла не в Пинчонов: ей все передалось от матери.

Что касается того, была Фиби леди или нет, этот вопрос решить очень трудно: только едва ли он пришел бы на ум здравомыслящему человеку. Я думаю, что только у нас в Новой Англии можно встретить девушку, которая бы соединяла в себе столько свойственных леди качеств с таким множеством других. Ее правил не стеснял никакой устав: она была удивительно верна самой себе и никогда не действовала наперекор окружающим ее обстоятельствам. Ее хрупкая, маленькая, почти детская фигурка была до такой степени гибкой, что движение ей как будто давалось легче неподвижности. Лицо Фиби с обрамляющими его темными локонами, слегка заостренным носиком, со здоровым румянцем и с полудюжиной веснушек — дружеским сувениром апрельского ветра и солнца, — также не дает нам полного права назвать ее красавицей. Но в ее глазах были блеск и глубина. Она казалась очень миловидной, грациозной, как птичка, именно, как птичка; ее присутствие в доме напоминало легкий свет солнца, падающий на пол сквозь тень движущихся листьев, или отблеск огня в камине, танцующий на стенах при наступлении вечера. Приятно было смотреть на Фиби — на этот образец женской грации, сочетавшейся с достоинствами ума, — а в какой сфере такая женщина была бы не на своем месте? Такая женщина каждое занятие, самое важное и самое ничтожное, скрасит своим участием в нем и окружит атмосферой любви и радости.

Так широко и свободно лежала перед Фиби дорога жизни. Казалось даже, будто морщинистая физиономия Дома с семьёй шпилями, которая смотрела на вас,

мрачно нахмурив брови, в самом деле прояснялась и весело поблескивала своими мутными окнами, когда Фиби бегала туда-сюда по комнатам. Иначе невозможно объяснить тот факт, что все соседи так скоро узнали о ее появлении в доме. В лавочке то и дело толкались покупатели, начиная с девяти часов и до самого обеда – в это время беготня несколько утихала, но потом возобновлялась с прежней суеверностью и прекращалась только за полчаса до заката долгого летнего дня. Одним из самых неугомонных посетителей лавочки был маленький Нед Хиггинс, истребитель пряничных негров. Утром этого дня он явил новые чудеса прожорливости, уничтожив двух верблюдов и один локомотив. Фиби радостно смеялась, подсчитывая на аспидной доске свои барышни и высыпав из ящика целую кучу медных монет, среди которых мелькало и несколько серебряных.

– Нам нужно возобновить запасы, кузина Гепзиба, – говорила маленькая торговка. – Пряники кончились, как и немецкие деревянные молочницы и множество других игрушек. Часто спрашивали дешевый изюм, а еще чаще – свистки и барабаны, и по крайней мере десять мальчишек требовали вареных в сахаре фруктов. Нам непременно нужно достать лесных яблок, хоть уже и прошла на них пора. Но, милая кузина, посмотрите, какая куча у нас медных денег! Настоящая медная гора!

– Прекрасно! Прекрасно! Прекрасно! – повторял дядюшка Веннер, пользуясь любым случаем зайти в лавочку. – Вот девушка, которой не придется коротать жизнь на моей ферме! Ах ты, Господи! Что за проворная малютка!

– Да, Фиби – славная девушка, – изрекала Гепзиба, важно нахмурив брови. – Но, дядюшка Веннер, вы знаете наш род издавна: как вы думаете, неужели все это передалось ей от Пинчонов?

– Честно сказать, я не замечал в них ничего подобного, – отвечал почтенный старик. – Да и нигде, правду сказать. Я много видел на своем веку людей – не только в кухнях и на задних дворах, но также и на улицах, на пристанях и в других местах, где мне случалось работать, но при всем том должен сказать вам, мисс Гепзиба, что никогда еще не случалось мне видеть, чтобы какое-нибудь создание работало так, как этот ребенок Фиби, – словно сами ангелы Божии ей помогают!

Как ни была преувеличена похвала дядюшки Веннера, но в ней скрывалось верное и тонкое чувство. Фиби проводила долгий, полный хлопот день в трудах,

которые сами по себе могли бы считаться неопрятными и отталкивающими, но грация, с какой она выполняла эти ничтожные занятия, делала их необыкновенно привлекательными.

Обе родственницы до наступления ночи, в промежутках между появлениеми покупателей, нашли время для того, чтобы сделать несколько шагов к дружескому сближению. Старая леди находила печальное и гордое удовольствие в том, чтобы водить Фиби из комнаты в комнату и рассказывать ей грустные предания о событиях, свершившихся в стенах этого дома. Она показывала своей кузине впадины от рукоятки шпаги лейтенант-губернатора на створках двери, ведущей в комнату, где мертвый хозяин, старый полковник Пинчон, встретил своих гостей страшно нахмуренным взглядом. Этот мрачный взгляд, по замечанию Гепзибы, до сих пор вселял ужас во всякого, кто переступал порог комнаты. Затем она попросила Фиби стать на один из стульев и рассмотреть старинную карту восточных земель Пинчонов. В одной полосе земли, на которую она указала пальцем, находились серебряные рудники; эта местность значилась в заметках самого полковника Пинчона, но могла стать достоянием общества только после того, как права семейства на данные земли признает правительство. Таким образом, вся Новая Англия была заинтересована в том, чтобы это дело решилось в пользу Пинчонов. Гепзиба объявила также, что где-то под домом, или в погребе, или, может быть, в саду непременно должен находиться огромный клад, состоящий из кучи английских гиней.

— Если бы вам посчастливилось найти его, Фиби, — проговорила Гепзиба, глядя на девушку с кислой, но дружелюбной улыбкой, — тогда бы колокольчик не звенел больше в лавочке.

— Да, милая кузина, — ответила Фиби, — но пока я слышу, как он звенит!

Когда Фиби закончила с покупателем, Гепзиба начала рассказывать, очень неопределенно и издалека, о некоторой Элис Пинчон, которая была необыкновенно хороша собой и очень образованна в свое время, лет сто тому назад. С этой прелестной Элис случилась какая-то страшная, покрытая мраком тайны, беда. Она худела, бледнела и мало-помалу увяла навеки. Но до сих пор некоторые уверены, что тень ее живет в Доме с семьёй шпилями, и очень часто — особенно перед смертью кого-нибудь из Пинчонов — слышно, как она играет на клавикордах. Одна из ее пьес, в то самое время, когда она перебирала клавиши своими бесплотными пальцами, была положена на ноты каким-то любителем музыки. Пьеса эта до такой степени печальна, что до сих пор никто не в

состоянии ее слушать, и только тем, чья душа томится собственным горем, музыка эта кажется приятной.

— Это те самые клавикорды, которые вы мне показывали? — спросила Фиби.

— Те самые, — ответила Гепзиба. — Это клавикорды Элис Пинчон. Когда я училась музыке, отец не позволял мне открыть их, и так как я упражнялась только на инструменте своего учителя, то давно уже совсем забыла музыку.

Оставив эти темы, Гепзиба завела речь о дагеротиписте, которому — так как он был здравомыслящий и благонравный молодой человек, притом бедный, — она позволила жить в одном из семи шпилей. Но, познакомившись поближе с мистером Холграйвом, она не знает, что с ним делать.

— Он водится, — так говорила мисс Пинчон, — с самыми странными людьми, каких только можно себе представить: с длинными бородами, в полотняных блузах и в других новомодных и безобразных платьях. Все это реформаторы, проповедники воздержания, пасмурные филантропы, бродяги, которые не признают никаких законов, не употребляют в пищу ничего питательного и живут только запахом чужих кухонь.

Что же касается собственно дагеротиписта, то она читала однажды статью, где его брали за либеральную речь, которую он произнес перед собранием, похожем на толпу бандитов. Со своей стороны, мисс Пинчон имела причины думать, что он занимается животным магнетизмом и, возможно, даже изучает черную магию в своей уединенной комнате.

— Позвольте, милая кузина, — перебила ее Фиби, — если этот молодой человек так опасен, то зачем вы позволяете ему жить у себя в доме?

— То-то и оно! — ответила Гепзиба. — Иногда я всерьез подумывала прогнать его. Но при всех своих странностях он очень добрый человек, и хоть я плохо его знаю, однако, если бы потеряла его из виду, то, кажется, и загрустила бы. Женщина рада любому знакомству, когда живет в таком одиночестве, как я.

— Но если мистер Холграйв человек, не признающий законов? — заметила Фиби, одним из достоинств которой было уважение к общественным постановлениям.

— О! — воскликнула Гепзиба. — Я думаю, что у него есть свои законы!

## Глава VI. Источник Моула

Чай пили рано, и деревенская девушка отправилась гулять по саду. Его теперь со всех сторон окружали деревянные заборы и пристройки домов, стоявших на другой улице. В середине сада находилась лужайка с небольшим полуразвалившимся строением, в котором, однако, еще можно было узнать беседку. Хмель, выросший из прошлогоднего корня, постепенно взбирался по ней вверх. Три из семи шпилей дома смотрели в сад с мрачной величавостью.

Чернозем был богат перегноем из осипавшихся листьев, лепестков цветов и стеблей диких растений. Почти везде рос бурьян, но Фиби заметила в саду следы неустанного труда. Кустарник с белыми розами, очевидно, был обставлен подпорками в начале весны, а у груши и трех дамасских слив, которые были единственными плодоносными деревьями в саду, недавно подрезали ветви. Было здесь также несколько сортов старинных цветов, не слишком хорошо разросшихся, но старательно ополотых вокруг. В остальной части сада росли разнообразные овощи: летние тыквы, уже в золотом цвету; огурцы, два или три сорта бобов и картофель, который занимал такое уютное и солнечное место, что стебли его уже выросли до гигантской высоты и обещали ранний и обильный урожай.

Фиби никак не могла постичь, кто посадил все эти растения и содержал почву в такой чистоте и порядке. Уж, верно, не ее кузина Гепзиба, у которой вовсе не было склонности к разведению цветов и которая со своими затворническими привычками и вечным стремлением скрыться в печальной тени дома едва ли решилась бы рыться в земле между бобами и тыквами, под открытым небом.

Фиби впервые в жизни оказалась вдали от привычных предметов деревенской жизни, и для нее этот зеленый уголок с тенью от деревьев, с цветами и простыми растениями стал неожиданно-приятной находкой. Само небо, казалось, с удовольствием устремляло сюда свой взор, как будто радуясь, что природа, которую всюду теснил пыльный город, нашла здесь место для отдыха. Сад являл собойдискую, но привлекательную картину; особенную прелесть ей придавала пара реполовов, свивших себе гнездо на груше и чирикавших с необыкновенной суетливостью и веселостью в густой тени ее ветвей. Пчелы также – что очень странно – не поленились прилететь в этот сад, вероятно, с какой-нибудь фермы, которая находилась в нескольких милях отсюда. Сколько путешествий по воздуху им приходится совершать от рассвета до заката солнца! Фиби невольно

засмотрелась, как две или три пчелы с приятным жужжанием трудились в глубине золотистых тыквенных цветов.

Было в саду еще кое-что, что природа вполне законно могла считать своим. Это был источник, обложенный вокруг мшистыми камнями, дно которого было украшено, наподобие мозаики, разноцветным бульджником. Вода стремилась из-под земли, магически преображая эти камешки в движущиеся фигуры, которые сменялись одна другой так быстро, что их невозможно было рассмотреть. Переливаясь через ограду из мшистых камней, вода бежала по саду едва заметной струйкой.

Нельзя также не упомянуть и о старом курятнике, стоявшем в дальнем углу сада. В нем в эту пору жил только петух с двумя курицами и одиноким цыпленком; все они были из славной породы кур, существовавшей, судя по всему, еще с тех давних пор, когда дом Пинчонов только построили. По словам Гепзибы, в старые времена эти куры были ростом почти с индейских петухов, а их необыкновенно вкусное мясо сгодилось бы и для королевского стола. В доказательство справедливости этого предания Гепзиба показывала Фиби скорлупу большого яйца, которое и страус не постыдился бы назвать своим. Как бы то ни было, теперь куры были немногим крупнее голубей, имели тощий, болезненный вид, квохтали печальными голосами и как будто страдали от подагры. Было очевидно, что эта раса выродилась, как и многие другие редкие расы. Это пернатое племя существовало слишком долго в удалении от других племен, как видно было по тоскливой наружности его представителей. Они непостижимым образом оставались в живых, несли изредка яйца и выводили какого-нибудь цыпленка, как будто для того только, чтобы свет не лишился вовсе столь удивительной некогда породы птиц. Отличительным признаком последнего поколения пинчоновских петухов был плачевно-маленький гребень, до того похожий — как это ни странно — на тюрбан Гепзибы, что Фиби, хоть она при этом и терзалась совестью, не могла не видеть сходства между этими заброшенными птицами и своей почтенной родственницей.

Она побежала в дом собрать хлебных крошек, холодного картофеля и других остатков пищи и, вернувшись в сад, позвала кур. Цыпленок пробрался через щель курятника и подбежал к ее ногам с какой-то несвойственной ему веселостью, между тем как петух и две курицы посмотрели на нее искоса и начали квохтать между собой, как бы сообщая друг другу заключения об ее характере. Вид у них действительно был настолько античный, что в них не только можно было признать потомков древней расы, но следовало согласиться и

с тем, что они существовали как самостоятельная порода со времен основания Дома с семью шпилями и разделяли некоторым образом его судьбу. Они были кем-то вроде духов-покровителей этого места.

– Иди, иди ко мне, бедный цыпленок! – сказала Фиби. – Вот тебе прекрасные крошки.

Цыпленок, несмотря на свою столь же почтенную наружность, какой была одарена и его мать, обнаружил необыкновенную живость и взлетел на плечо к Фиби.

– Эта маленькая птичка благодарит вас за заботу! – вдруг раздался позади нее чей-то голос.

Быстро обернувшись назад, девушка увидела молодого человека. Он держал в руке мотыгу и в то время, когда Фиби бегала в дом за крошками, уже начал очищивать картофель.

– Цыпленок в самом деле ведет себя с вами как со старой знакомой, – продолжал он спокойно, и улыбка, мелькнувшая на его устах, сделала его лицо гораздо приятнее, чем Фиби показалось с первого взгляда. – А эти почтенные особы в курятнике тоже, кажется, очень снисходительно к вам расположены. Вам повезло, что вы так быстро вошли к ним в милость! Они знают меня гораздо дольше, но никогда не удостаивали никакой фамильярностью, хотя не проходит ни дня, чтобы я не принес им корма. И думаю, что мисс Гепзиба обязательно возьмет этот факт на заметку и, рассказывая всевозможные предания, станет утверждать, будто птицы знали, что вы происходите из рода Пинчонов!

– Секрет заключается в том, – рассмеялась Фиби, – что я знаю язык, на котором говорят с курами и цыплятами.

– Да! – ответил молодой человек. – Но я остаюсь при мысли, что эти куры узнают в вас фамильный голос. Ведь вы из дома Пинчонов?

– Да, мое имя Фиби Пинчон, – сказала девушка холодно. Она знала, что ее новый знакомый должен быть не кто иной, как дагеротипист, о котором рассказывала ей родственница. – Я и не знала, что сад моей кузины Гепзибы вверен попечению другой особы.

– Так и есть, – подтвердил Холгрейв. – Я рою землю, сажаю семена и очищаю от бурьяна этот старый чернозем, чтобы наслаждаться тем, что сберегла здесь

природа от многочисленных человеческих посевов и жатв. Притом это такое приятное препровождение времени! Мое ремесло – пока я занимаюсь каким-нибудь ремеслом – не требует продолжительных трудов. Я рисую портреты посредством солнечных лучей; чтобы дать отдых своим глазам, выпросил у мисс Гепзибы позволение жить в одном из этих мрачных шпилей. Входя в них, все равно, что накладываешь себе на глаза повязку. Но не угодно ли вам взглянуть на мою работу?

– То есть дагеротип? – спросила Фиби уже не с такой холодностью, как прежде, потому что, несмотря на все предубеждения, ее молодость тянулась к его молодости. – Я не очень люблю этого рода портреты: они всегда так сухи и угрюмы; кроме того, в них нельзя всмотреться – они беспрестанно ускользают от глаз. Они знают, видно, как они непривлекательны, и потому стараются избежать наблюдения.

– Если вы мне позволите, – сказал художник, глядя на Фиби, – я произведу опыт, чтобы понять, в самом ли деле дагеротип умаляет красоту прелестного лица. Но в том, что вы сказали, есть истина. По большей части мои портреты выглядят довольно угрюмо, однако, я думаю, это потому, что так выглядят и сами оригиналы. Солнце одарено удивительной проницательностью. Его лучи обнажают истинный характер человека с абсолютной верностью, что не способен сделать ни один художник, даже если он и открыл этот характер. По крайней мере в моем скромном искусстве нет лести. Вот, например, портрет, который я снимал и переснимал несколько раз, но всегда с одинаковым результатом. В жизни оригинал этого портрета производит совсем иное впечатление, и выражение его лица кажется другим. Мне было бы приятно узнать ваше суждение о характере этого человека.

Он подал ей дагеротип – миниатюру в сафьяновом футляре. Фиби едва взглянула на портрет и сразу вернула его назад.

– Я знаю это лицо, – сказала она. – Его суровые глаза преследовали меня целый день. Это мой предок пуританин, что висит там, в комнате. Вероятно, вы нашли средство скопировать портрет без его черного бархатного плаща и серой бороды и нарядить его вместо этого в новомодный фрак и галстук. Не скажу, однако, что он стал привлекательнее от этих перемен.

– Вы бы нашли еще некоторое различие, если бы посмотрели на него подольше, – сказал Холгрейв со смехом, но пораженный, по-видимому, словами

девушки. – Могу уверить вас, что это лицо нашего с вами современника, и весьма вероятно, что вы встретите его здесь. Заметьте, что оригинал, по мнению общества и, насколько я знаю, самых близких своих друзей, обладает чрезвычайно приятной физиономией, выражющей добродушие, откровенность, веселость и другие прекрасные качества в этом роде. А солнце, как видите, рассказывает о нем совершенно иного рода историю и не хочет от нее отказаться, несмотря на мои неоднократные попытки заставить его говорить другое. Оно представляет нам его человеком фальшивым, хитрым, черствым, повелительным, а внутри холодным как лед. Взгляните на эти глаза: согласились ли бы вы ввериться этому человеку; на этот рот: улыбался ли он когда-нибудь? А посмотрели бы вы на благосклонную улыбку оригинала! Это тем досаднее, что он играет довольно важную роль в общественных делах и портрет этот предназначен для гравюры.

– Нет, я не хочу больше его видеть! – сказала Фиби, отворачиваясь. – Он и в самом деле очень похож на старый портрет. Но у моей кузины есть еще один портрет – миниатюра. Думаю, что это лицо солнце не в состоянии было бы сделать жестким или суровым...

– Так вы видели этот портрет! – воскликнул художник. – Сам я никогда не видел его, но очень желал бы посмотреть. Лицо на миниатюре показалось вам очень привлекательным?

– Ничего прекраснее я не видела, – ответила Фиби. – Оно, можно сказать, даже слишком красиво, слишком изнеженно для мужчины.

– В нем не заметно никакого бурного чувства? – продолжал расспрашивать Холгрейв с любопытством, которое приводило Фиби в некоторое замешательство, равно как и та непринужденность, с какой он завязал с ней знакомство. – Нет ли в нем чего-нибудь мрачного или зловещего? Могли бы вы предположить, что оригинал был виновен в тяжком преступлении?

– Что за странные вопросы?! – воскликнула Фиби с некоторым нетерпением. – Можно ли говорить такие вещи о портрете, которого вы никогда не видели? Вы наверняка принимаете его за какой-нибудь другой. Преступление! Вы ведь приятель моей кузины Гепзибы – можете попросить ее показать вам портрет.

– Мне было бы гораздо полезнее увидеть оригинал, – сухо ответил дагеротипист. – Что касается его характера, то нет смысла рассуждать о его качествах: они уже определены судом законным или по крайней мере тем,

который сам себя называл законным... Но подождите! Не уходите, я сделаю вам одно предложение.

Фиби уже готова была уйти, но опять обернулась к нему с некоторой нерешимостью, потому что она не вполне понимала его манеру обращения, хотя, вникнув, могла открыть в ней скорее отсутствие церемонности, нежели оскорбительную грубость. В тоне, которым он продолжал говорить с ней, было какое-то странное самовластие, как будто он сам был хозяином этого сада, а не пользовался им единственno из благосклонности Гепзибы.

— Если это будет вам приятно, — сказал он, — то я с большим удовольствием предоставлю вашим попечениям эти цветы и этих древних и почтенных птиц. Вы ведь только что оставили деревенский воздух и привычные занятия и наверняка скоро почувствуете необходимость в каком-нибудь занятии под открытым небом. Например, вы могли бы ухаживать за цветами — с удовольствием оставлю их вам. Только время от времени буду просить вас уступить мне немного цветов в обмен на прекрасные овощи, которыми я надеюсь обогатить стол мисс Гепзибы. Таким образом мы будем полезными друг другу сотрудниками.

Фиби, сама дивясь своему согласию, молча принялась полоть цветочную гряду, но ее гораздо больше занимали мысли об этом молодом человеке, с которым она так неожиданно сблизилась до фамильярности. Он не слишком ей нравился. Его поведение смущало молодую деревенскую девушку, а речи отличались шутливым тоном, но производили на нее впечатление серьезное и почти суровое, кроме тех случаев, когда молодость художника смягчала это впечатление. Фиби боролась с действием какого-то магического элемента, заключавшегося в натуре Холгрейва и покорявшего ее своими чарами, может быть, вовсе неумышленно.

Через некоторое время над садом повисли сумерки, сгущенные тенью фруктовых деревьев и соседних строений.

— Пора нам оставить работу! — сказал Холгрейв. — Делаю последний удар мотыгой. Спокойной ночи, мисс Фиби Пинчон! Если вы в один прекрасный день прикрепите к своим волосам одну из этих роз и зайдете в мою мастерскую на Среднем проспекте, то я воспользуюсь самым чистым солнечным лучом, чтобы снять ваш портрет.

С этими словами он направился в свой уединенный шпиль, но, подойдя к двери, обернулся и сказал Фиби голосом, в котором сквозила усмешка, но вместе с тем и серьезность:

- Берегитесь, не пейте воду из источника Моула! Не пейте и не умывайте лицо!
- Источник Моула! – повторила Фиби. – Тот, что обложен мшистыми камнями? Я вовсе не думала пить из него. Но почему вы это говорите?
- Почему? Потому что он заколдован, как и чай иной старой леди.

Художник скрылся, и Фиби, помедлив еще с минуту в саду, увидела сперва мерцающий огонек, а потом яркий свет лампы в окнах его шпиля. Когда она вернулась в комнату Гепзибы, там было уже так темно, что она ничего не могла рассмотреть. Девушка едва могла видеть старую леди, сидевшую на одном из прямых стульев немного поодаль от окна. Слабый свет обрисовывал во мраке ее бледное лицо, обращенное в угол комнаты.

- Не зажечь ли мне лампу, кузина Гепзиба? – спросила Фиби.
- Зажгите, пожалуйста, – ответила та. – Но поставьте ее на столе в углу коридора. Глаза у меня слабы, и я избегаю смотреть на свет лампы.

Какой чудный инструмент человеческий голос, как он выражает любое движение нашей души! В тоне Гепзибы в эту минуту были звучная глубина и влажность, как будто слова ее при всей своей незначительности были пропитаны теплотой ее сердца. Когда Фиби зажигала в кухне лампу, ей показалось, что Гепзиба что-то сказала.

- Сейчас, кузина! – отозвалась девушка. – Эти спички только вспыхивают и гаснут.

Но вместо отклика Гепзибы она услышала другой голос. Он, впрочем, был неясен и походил скорее на неопределенные звуки, в которых выражались любовь и участие. Впрочем, звуки эти были едва уловимы, и Фиби решила, что какой-нибудь другой звук в доме показался ей человеческим голосом или же это только игра ее воображения.

Поставив зажженную лампу в коридоре, она вернулась в комнату Гепзибы. Теперь фигура старой девы, несмотря на то, что ее черты все ещесливались с полумраком, виднелась немногоОтчетливее. Впрочем, в отдаленных углах комнаты царила почти та же темнота, что и прежде.

— Кузина, — сказала Фиби, — говорили вы мне что-нибудь сейчас?

— Нет, дитя мое! — ответила Гепзиба тем же таинственным тоном.

Слова ее казались проникнутыми глубочайшим волнением сердца. В них был какой-то трепет, который отчасти передался и Фиби. С минуту девушка сидела молча. Вскоре, однако же, она уловила чье-то неровное дыхание в углу комнаты и почувствовала, что поодаль от нее есть кто-то третий.

— Милая кузина, — сказала она через силу, — нет ли еще кого-нибудь в комнате?

— Фиби, милая моя малютка, — произнесла Гепзиба после минутной паузы, — ты очень рано встала и хлопотала целый день. Иди спать, я уверена, что тебе нужен отдых. Я хочу посидеть еще немного одна и собраться с мыслями. Я взяла это в привычку еще задолго до твоего рождения.

С этими словами леди сделала несколько шагов вперед, поцеловала Фиби и прижала ее к своему сердцу, которое билось с необыкновенной силой и чувством. Каким образом сохранилось в ее одиноком старом сердце так много любви, что излишек ее теперь переливался через край?

— Спокойной ночи, кузина, — сказала Фиби, пораженная странным обхождением Гепзибы. — Я очень рада, что вы начинаете любить меня.

Она вернулась в свою комнату, но не скоро смогла уснуть и спала не очень крепко. Время от времени глубокой ночью она слышала сквозь сон чьи-то шаги по лестнице, тяжелые, но нерешительные.

## Глава VII. Гость

Когда Фиби проснулась — а это случилось тогда же, когда заскрипала чета реполовов на груше, — она услышала на лестнице какой-то шорох. Девушка поспешила спуститься на нижний этаж и нашла Гепзибу в кухне. Та стояла у окна, держа книгу перед самым носом и как будто пытаясь почуять ее содержание, потому что ее слабое зрение не слишком помогало ей в этом. Трудно представить себе книгу убедительнее той, которая была теперь в руках Гепзибы: от одного ее чтения вся кухня наполнялась запахом индеек, каплунов, копченых куропаток, пудингов, пирожных и святочных поросят во всех возможных смешениях и вариациях. Это была поваренная книга, наполненная рецептами старинных английских блюд и украшенная гравюрами, на которых

были изображены приготовления к грандиозным пиршествам. Среди этих великолепных образцов поваренного искусства (из которых, вероятно, ни один не был воплощен в жизнь за последние несколько десятилетий) бедная Гепзиба искала рецепт какого-нибудь несложного блюда, чтобы наскоро приготовить завтрак.

Скоро, однако же, мисс Пинчон отложила в сторону это сочинение и спросила Фиби, не снесла ли вчера яйца старая Спекля, как она называла одну из куриц. Фиби побежала посмотреть, но вернулась с пустыми руками. В эту минуту послышался свисток рыбака, возвещая о его приближении к дому. Гепзиба позвала его, энергично постучав в окно лавочки, и купила у него отличную, только что пойманную, жирную макрель. Поручив Фиби поджарить кофе, который она называла чистейшим мокским, старая дева положила столько дров в старый очаг, что из трубы тотчас повалил густой дым. Деревенская девушка, помогая Гепзибе, предложила испечь индейский пирожок по особому легкому рецепту, который она узнала от матери; по ее словам, если хорошо его приготовить, он должен был очень вкусен и нежен. Гепзиба с радостью на это согласилась, и кухню вскоре наполнил приятный аромат. Нам кажется, что сквозь дым, вырывавшийся из печки, на это незатейливое кушанье с удивлением и с некоторым пренебрежением взирали тени усопших кухарок, напрасно протягивая к нему свои бесплотные руки. По крайней мере голодные мыши точно вылезали из своих норок и, сев на задние лапки, нюхали воздух, благоразумно выжиная благоприятного случая поживиться.

Гепзиба не обладала кулинарными талантами и, по правде сказать, усугубила свою природную худобу, часто предпочитая остаться без обеда, чем управляться с вертелом или наблюдать за кипящим горшком. Поэтому рвение, которое она обнаружила теперь к кухонным подвигам, казалось воистину героическим. Было весьма трогательно смотреть на то, как она разгребала свежие уголья и жарила макрель. Обыкновенно бледные, ее щеки теперь разгорелись от огня и суеты, и она наблюдала за рыбой с такой нежной заботой и вниманием, как будто – не беремся найти лучшего сравнения, – собственное сердце ее лежало на сковороде, а ее счастье зависело от того, хорошо или нет зажарится эта рыба.

В домашней жизни выдается не много моментов приятнее хорошего завтрака. Мы садимся за стол со свежими силами и мыслями. Так и старинный столик Гепзибы, покрытый роскошной скатертью, достоин был являться центром самого веселого кружка.

Фиби отправилась в сад, собрала красивый букет роз и поставила его в небольшую стеклянную кружку, которая давно потеряла свою ручку и потому могла заменять собой вазу. Утреннее солнце, столь же свежее и улыбающееся, как и то, лучи которого проникали в цветущее жилище первых людей, пробиваясь сквозь ветви груши, освещало стол, на котором было приготовлено три прибора: один для Гепзибы, другой для Фиби... но для кого же третий?

Гепзиба, бросив последний хозяйственный взгляд на стол, взяла Фиби за руку. Она вспомнила, как сурова и раздражительна была во время приготовления этого таинственного завтрака, и решила, по-видимому, искупить свою вину.

— Не суди меня за мое беспокойство и нетерпеливость, милое дитя мое, — сказала она. — Я люблю тебя, Фиби, несмотря на резкость моих слов.

— Милая кузина, почему вы не скажете мне, кто к вам приехал? — спросила Фиби с улыбкой, близкой к слезам. — Отчего вы так встревожены?

— Тише, тише! Он идет, — проговорила Гепзиба, поспешив вытереть глаза. — Пускай он увидит сначала тебя, Фиби, потому что ты молода и твои щечки свежи, как эти розы; улыбка играет на твоем лице против твоей воли. Он всегда любил смеющиеся лица. Мое теперь уже старо; слезы мои едва успели высохнуть, а он никогда не выносил слез. Задерни немножко занавеску, чтобы тень легла на ту часть стола, где он сядет, но совсем солнце не закрывай, он никогда не любил темноту — а сколько было мрачных дней в его жизни! Бедный Клиффорд!..

Она еще произносила вполголоса эти слова, обращенные будто к ее собственному сердцу, а не к Фиби, когда из коридора до них донесся шум. Фиби узнала шаги, которые она слышала на лестнице ночью. Приближавшийся к ним гость — кем бы он ни был — задержался на верхних ступеньках лестницы, он остановился еще раза два, пока спускался, и вновь помедлил в самом низу лестницы. Наконец он сделал длинную паузу у порога комнаты, взялся за ручку двери, потом отпустил ее. Гепзиба с конвульсивно скатыми руками смотрела на дверь.

— Милая кузина Гепзиба! — пробормотала Фиби, вся дрожа, потому что волнение ее кузины и эти таинственные шаги производили на нее такое впечатление, как будто в комнате вот-вот должно было появиться привидение. — Вы, право, пугаете меня! Неужели случилось что-нибудь ужасное?

– Тише! – прошептала Гепзиба. – Будь как можно веселее, что бы ни случилось!

Последняя пауза у порога тянулась так долго, что Гепзиба, не будучи в силах выносить ее дольше, подошла к двери, отворила ее и ввела незнакомца за руку. Фиби увидела перед собой пожилого мужчину в старомодном шлафроке и с седыми, почти белыми, необыкновенной длины, волосами, которые закрывали его лоб, пока он не откинул их назад, обводя взглядом комнату. Всмотревшись в лицо гостя, девушка поняла, что остановки его были вызваны той неопределенностью цели, с которой ребенок совершает свои первые путешествия по полу. Ничто не обнаруживало в нем недостатка физических сил. Немощной была его душа. Впрочем, в его лице все-таки светился ум – только этот свет казался таким неопределенным, таким слабым, словно в любую минуту готов был исчезнуть. Это было пламя, мелькающее в почти погасших головнях; мы всматриваемся в него внимательно и с некоторым нетерпением, чтобы оно или засияло ярче, или погасло совсем.

Войдя в комнату, гость стоял с минуту на одном месте, держась инстинктивно за руку Гепзибы, как ребенок держится за руку взрослого, который ведет его. Он, однако же, заметил Фиби и, по-видимому, был приятно поражен ее юным и прелестным видом. Девушка в самом деле источала радость и тепло, подобно тому, как стеклянная кружка с цветами рассыпала вокруг себя солнечные блики. Он поклонился ей, или, говоря вернее, сделал неудачную попытку поклониться. При всей, однако же, неопределенности этого движения в нем проявилась какая-то врожденная грация, которой невозможно научиться, даже постоянно общаясь с людьми.

– Милый Клиффорд, – сказала Гепзиба тоном, каким обыкновенно обращаются к избалованным детям, – это наша кузина Фиби, маленькая Фиби Пинчон – единственная дочь Артура, как вы знаете. Она приехала из деревни погостить к нам, потому что наш старый дом сделался уж слишком безлюдным.

– Фиби?.. Фиби Пинчон?.. Фиби? – повторял гость странным, медленным, нетвердым голосом. – Дочь Артура! Ах! Я и позабыл! Что ж, я очень рад!

– Садитесь здесь, милый Клиффорд, – сказала Гепзиба, подводя его к креслу. – Фиби, потрудись приподнять немножко штору. Теперь мы будем завтракать.

Гость сел на предназначеннное для него кресло и с потерянным видом огляделся вокруг. Он, очевидно, старался понять, что ему предстоит; по крайней мере желал удостовериться, что он находится именно здесь, в низкой комнате с

дубовыми стенами и потолком, пересеченным несколькими перекладинами, а не в другом месте, которое навеки запечателось в его памяти. Но этот подвиг был для него так труден, что он мог преуспеть в нем лишь отчасти. Его сознание беспрестанно исчезало, оставляя за столом только истощенную, поседевшую и печальную фигуру – физический призрак. Через некоторое время в глазах гостя опять показывался слабый свет, свидетельствуя о том, что дух его вернулся и силится разжечь домашний очаг сердца, засветить лампаду ума в темноте разрушенного дома, где он осужден вести одинокую, отделенную от мира жизнь.

В один из этих моментов Фиби убедилась в той мысли, которую она сперва отвергала как нелепую и невозможную. Она поняла, что сидевший перед ней человек и есть оригинал прекрасной миниатюры, хранившейся у ее кузины Гепзибы. Действительно, благодаря своей разборчивости в костюмах, она тотчас догадалась, что его шлафрок, по виду, материалу и моде, был тем самым, что изображен на портрете. Это старое, полинялое платье, потерявшее весь свой прежний блеск, казалось, говорило каким-то особенным языком, которому нет названия, о тайном бедствии, постигшем его хозяина. Глядя на него, можно было понять, что душу этого человека постиг какой-то страшный удар. Он сидел здесь словно под покрывалом разрушения, которое отделяло его от мира, но сквозь которое порой проступало то самое выражение, нежное и мечтательное, какое Мальбон отразил в миниатюре и которое ни годы, ни тяжесть обрушившегося на него бедствия не в состоянии были уничтожить.

Гепзиба налила чашку восхитительно благоухающего кофе и подала ее гостю. Встретившись с ней взглядом, он, казалось, пришел в смущение.

– Это ты, Гепзиба? – проговорил он невнятно, потом продолжил, как будто не замечая, что его слышат: – Как переменилась! Как переменилась! И недовольна мною за что-то... Почему она так хмурит брови?

Бедная Гепзиба! Это был тот самый нахмуренный взгляд, который со временем, от близорукости и постоянного беспокойства, вошел у нее в привычку. Но эти неясные слова оживили в ее душе какое-то грустное чувство любви, и оно придало всему лицу ее нежное и даже приятное выражение.

– Недовольна! – повторила она. – Недовольна вами, Клиффорд!..

Тон, которым она произнесла это восклицание, был жалобным и поистине музыкальным – как будто какой-нибудь превосходный музыкант извлек сладкий,

потрясающий душу звук из разбитого инструмента. Так глубоко было чувство, выразившееся в голосе Гепзибы!

– Здесь, напротив, все вас любят, – прибавила она. – Вы у себя дома!

Гость ответил на ее слова улыбкой, которая не осветила и половины его лица. Но как ни была она слаба и мимолетна, в ней сквозило очарование красоты. Вслед за этой улыбкой на лице у него появилось более грубое выражение – или оноказалось грубым, потому что не было смягчено светом разума. Это был голод. Гость принял за предложенный ему завтрак, можно сказать, почти с жадностью и, казалось, позабыл и о самом себе, и о Гепзибе, и о юной Фиби, и обо всем, что его окружало. Вероятно, если бы его умственные способности сохранили свою силу, он бы сдержал тягу к наслаждению желудка. Но в настоящем положении дел эта потребность проявилась в таком тягостном для наблюдателя виде, что Фиби вынуждена была потупить взор.

Скоро гость почувствовал аромат стоявшего перед ним кофе и принял пить его с нескрываемым наслаждением. Ароматная эссенция подействовала на него как волшебный напиток. Темная субстанция его существа сделалась прозрачной – по крайней мере, в такой степени, что сквозь нее теперь был различим свет разума.

– Больше, больше! – вскрикнул он с тревожной поспешностью, словно боясь упустить что-то от него ускользавшее. – Вот что мне нужно! Дайте мне больше!

В это время стан его несколько расправился, а в глазах появилось осмысленное выражение. Они, впрочем, не ожили настолько, чтобы в них отразился ум. Это было скорее чувство нравственного удовольствия, способность к восприятию красоты, которая составляет главную принадлежность некоторых натур, обнаруживая в них изящный от природы вкус. Красота становится жизнью такого человека, к ней одной направлены все его стремления, и если только физические органы его находятся в гармонии с этим чувством, то и само оно получает должное развитие. Такой человек не должен знать горестей, ему не с чем бороться, для него не существует мучений, ожидающих тех, у кого достает духу, воли и сознания для борьбы с жизнью. Для этих исключительных характеров подобные мучения и составляют лучший из даров жизни, но для существа, на которое устремлено в настоящую минуту наше внимание, они были бы горем, небесной карой.

Нисколько не умаляя его достоинств, мы думаем, что Клиффорд отчасти был сибаритом<sup>7</sup> по натуре. Это можно было заметить по тому, как его глаза постоянно устремлялись к солнечному свету, который пробивался сквозь густоту ветвей в старинную, мрачную комнату. Это проявлялось в том, как он смотрел на кружку с розами, с каким наслаждением вдыхал их аромат. Это обнаруживалось в бессознательной улыбке, с какой он смотрел на Фиби, чей свежий, девственный образ был слиянием солнечного света с ароматом цветов. Не менее очевидна была эта любовь к прекрасному, эта жажда красоты и тогда, когда он с инстинктивной осторожностью отворачивал глаза от хозяйки, и его взгляд скорее блуждал по сторонам, нежели возвращался назад. Виноват в этом был не Клиффорд, виновата была несчастная судьба Гепзибы. Как мог он – при этой желтизне ее лица, при этой ее жалкой, печальной мине, при этом безобразном тюрбане, украшавшем ее голову, и этих нахмуренных бровях, – как мог он находить удовольствие в том, чтобы смотреть на нее? Но неужели он не выразил никакой любви к ней за всю ту нежность, которую она молчаливо расточала перед ним? Нет, никакой. Такие натуры чужды всех ощущений подобного рода. Они всегда бывают эгоистичны по своей сути, и напрасно требовать от них перерождения. Бедная Гепзиба постигала это или, по крайней мере, действовала инстинктивно. Клиффорд был так долго удален от всего, что услаждает взор, и она радовалась – радовалась по крайней мере в настоящую минуту, хоть и с тайным намерением поплакать после в своей комнате, – что у него перед глазами есть более привлекательные предметы, чем ее старое, некрасивое лицо. Оно никогда не было прелестным, а если бы и было, то червь ее горести о брате давно уже разрушил бы эту прелесть.

Гость откинулся на спинку стула. На его лице отражалось удовольствие, но вместе с тем и какое-то напряжение и беспокойство. Он старался уразуметь яснее окружающие его предметы, или, быть может, боясь, что все это сон или игра воображения, с усилием удерживал прекрасное мгновение перед своим духовным взором.

– Прелест! Восхитительно! – говорил он, не обращаясь ни к кому. – И все это наяву? Какой живительный воздух льется в окно! Открытое окно! Как играют лучи солнца! А цветы как пахнут! Какое веселое, какое цветущее лицо у этой молодой девушки! Это цветок, окропленный росой, солнечные лучи, играющие на росе! Ах, все это, должно быть, сон!.. Сон! Сон! Неужели вокруг меня по-прежнему каменные стены?

<sup>7</sup> Сибарит – чувственный или изнеженный человек, склонный к праздности и удовольствиям.

Тут его лицо омрачилось. В нем было теперь не больше света, чем могло проникнуть сквозь железную решетку темницы, – он будто с каждой минутой все глубже погружался в пропасть. Фиби почувствовала, что нужно во что бы то ни стало заговорить с незнакомцем.

– Вот новый сорт роз, я нарвала их в саду сегодня утром, – сказала она, выбирая из букета небольшой красный цветок. – В этом году их будет пять или шесть на кусте. Это самая лучшая роза. А как она пахнет! Как ни одна роза! Невозможно забыть этот запах!

– Ах! Покажите мне! Дайте мне! – вскрикнул гость и быстро схватил цветок, который своим запахом, как волшебной силой, пробудил в нем множество других воспоминаний. – Благодарю вас! Он доставляет мне большое удовольствие. Я помню, как я восхищался этим цветком – давно уже, я думаю, очень давно! Или это было только вчера? Он заставляет меня вновь почувствовать себя молодым! Неужели я снова молод? Или это воспоминание так ясно во мне? Но как добра эта девушка! Благодарю вас! Благодарю вас!

Эпизод с маленькой красной розой стал для Клиффорда самым светлым за все утро. Он мог бы продлиться дольше, если бы его глаза случайно не остановились на лице старого пуританина, который угрюмо смотрел на происходящее из своей потемневшей рамы и с матового полотна. Гость сделал нетерпеливое движение рукой и обратился к Гепзибе таким тоном, в котором ясно выражалась своеенравная раздражительность человека, за которым все в семействе ухаживают.

– Гепзиба! Зачем ты оставляешь этот ненавистный портрет на стене? Да-да! Это в твоем вкусе! Я говорил тебе тысячу раз, что он злой гений нашего дома! А мой злой гений в особенности! Сними его тотчас!

– Милый Клиффорд, – печально произнесла Гепзиба, – вы же знаете, что я не могу этого сделать.

– Если так, – продолжал он все еще исступленно, – то, прошу тебя, закрой его хотя бы красной занавесью, длинной, с золотыми кистями. Я не могу это терпеть! Пускай он не смотрит мне в глаза!

– Хорошо, милый Клиффорд, я закрою портрет, – сказала Гепзиба успокаивающим голосом. – Красная занавесь в сундуке под лестницей немножко полиняла и попортилась от моли, но мы с Фиби приведем ее в порядок.

— Сегодня же, не забудь! — потребовал он и потом тихо прибавил, словно обращаясь к себе: — И зачем нам жить в этом несчастном доме? Почему бы не переселиться в южную Францию? В Италию? В Париж, Неаполь, Венецию, Рим? Гепзиба скажет, что у нас нет средств. Какая глупая мысль!

Он засмеялся себе под нос и бросил на Гепзибу взгляд, которым хотел выразить тонкий сарказм. Но столь разные и волнительные чувства, испытанные им за такое короткое время, сильно его изнурили. Он, вероятно, привык к печальному однообразию жизни, которая не столько протекала ручьем, сколько собиралась в лужу вокруг его ног. Покрывало дремоты опустилось на его лицо и произвело свое действие на нежные черты, подобное тому, какое густая мгла оказывает на выразительный пейзаж, — они как будто сделались крупнее и даже грубее. Если до сих пор, глядя на этого человека, сторонний наблюдатель мог удивляться его интересной наружности или красоте — даже разрушенной красоте, — то теперь он мог бы усомниться в собственном впечатлении и приписать игре воображения какую-то грацию, оживлявшую это неподвижное лицо, и чудный блеск, игравший в этих мутных глазах.

Однако прежде, чем Клиффорд погрузился в оцепенение, из лавочки донесся резкий звон колокольчика — настолько неожиданный, что он вскочил со своего кресла.

— Боже мой, Гепзиба! Что за ужасная суматоха у нас в доме? — вскрикнул он, изливая свою досаду по старой привычке на единственную особу в мире, которая любила его. — Я никогда не слышал такого отвратительного звона! Что все это значит?

Эта пустая досада вдруг чрезвычайно рельефно отразила характер Клиффорда — как будто тусклый портрет вдруг соскочил со своего полотна. Человек с обостренным чувством прекрасного совершенно не выносит нарушения гармонии.

— Милый Клиффорд, мне жаль, что вы услышали этот звонок, — сказала Гепзиба терпеливо, но покраснев от прилива стыда. — Он даже для меня очень неприятен. Но, знаете ли, Клиффорд, я хочу кое-что сказать вам. Этот противный звонок — Фиби, сходи, пожалуйста, посмотря, кто там, — этот противный звонок не что иное, как колокольчик нашей лавочки.

— Лавочки! — повторил Клиффорд, глядя на нее с недоумением.

– Да, нашей лавочки, – подтвердила Гепзиба, и какое-то природное достоинство, смешанное с глубоким волнением, отразилось в ее лице. – Надо вам знать, милый Клиффорд, что мы очень бедны. Нам не оставалось другого средства к существованию, кроме как принять помощь от руки, которую я оттолкнула бы (так же, как и вы!), даже если бы умирала с голоду. Я должна была или принять от него помощь, или зарабатывать на хлеб собственным трудом! Одна я могла бы голодать, но мне обещали отдать вас! Неужели после этого, милый Клиффорд, – прибавила она с жалобной улыбкой, – вы можете думать, что я опозорила наш старый дом, открыв в нем лавочку? Наш прапрадед сделал то же самое, несмотря на то, что нуждался гораздо меньше нас! Неужели вы станете стыдиться меня?

– Стыд! Позор! И ты говоришь мне эти слова, Гепзиба? – сказал Клиффорд, поникнув головой, и добавил с грустью: – Какой стыд могу я теперь испытывать?

И бедный человек, рожденный для наслаждения, но встретивший такую жалкую участь, в припадке нервного расстройства разрыдался, как женщина. Впрочем, слезы лились недолго, он успокоился и, судя по его лицу, даже повеселел. Это чувство также длилось всего минуту и сменилось другим. Он посмотрел на Гепзибу с некоторой иронией, причина которой осталась для нее загадкой.

– Неужели мы так бедны, Гепзиба?

Кресло, в котором он сидел, было глубоким и мягким, и он почти в ту же минуту погрузился в сон. Вслушиваясь в его довольно правильное дыхание (которое, впрочем, было похоже на какой-то слабый трепет, соответствовавший недостатку силы в его характере), Гепзиба воспользовалась этой минутой, чтобы рассмотреть его лицо, чего она до сих пор не осмеливалась сделать. Ее сердечная боль теперь излилась слезами, глубокая грусть выразилась в стоне, тихом и кротком, но невыразимо печальном. Под влиянием этого глубокого горя и сострадания она почувствовала, что нет ничего непочтительного в том, чтобы посмотреть на его изменившееся, постаревшее, бледное лицо. Но едва она устремила на него внимательный взгляд, как совесть начала упрекать ее в том, что она рассматривает это лицо с любопытством теперь, когда оно так переменилось. Поспешно отвернувшись, Гепзиба опустила штору на окне и села к Клиффорду спиной.

## Глава VIII. Современный Пинчон

Фиби, войдя в лавочку, увидела там знакомое уже ей лицо маленького истребителя – не знаем, сможем ли мы перечислить все его жертвы – негров, слона, нескольких верблюдов и локомотива. Растратив все свое состояние за два предыдущие дня на неслыханные наслаждения, он теперь явился по поручению своей матери и попросил два яйца и полфунта изюму. Фиби подала желаемое и в знак благодарности за его первоначальное покровительство их лавочке вручила ему сладкого кита. Огромное морское чудовище немедленно было отправлено той же дорогой, что и предшествующий ему караван.

Прикрывая за собой дверь, мальчик вдруг обернулся и пробормотал что-то Фиби, но так как часть кита все еще находилась у него во рту, то девушка не смогла понять его.

– Что ты говоришь, дружок? – спросила она.

– Матушка велела узнать, – повторил Нед Гиггинс более внятно, – как здоровье брата старой мисс Пинчон? Говорят, он вернулся домой.

– Брат моей кузины Гепзибы! – воскликнула Фиби, удивленная этим внезапным объяснением отношений между Гепзибой и ее гостем. – Ее брат? А где он был?

Мальчик только с лукавым видом приложил указательный палец к своему широкому вздернутому носу и, так как Фиби продолжала смотреть на него, не давая ответа на заданный вопрос, отправился домой. Когда он спустился по ступенькам, по ним поднялся какой-то джентльмен и вошел в лавочку. Это был дородный мужчина, ростом выше среднего, уже довольно пожилой, в черном платье из тонкой материи. Трость из редкого восточного дерева, с золотым набалдашником, безукоризненно белые воротнички и начищенные до блеска сапоги придавали ему значительный вид. Его смуглое, квадратное лицо с мохнатыми бровями было от природы выразительным и казалось бы, вероятно, слишком суровым, если бы он не позаботился смягчить его чрезвычайно добродушным и благосклонным взглядом. Но тонкий наблюдатель прочел бы в этом взгляде не много истинной душевной доброты.

Когда незнакомец вошел в лавочку, в которой было темно из-за нависающего над ней второго этажа и густых листвьев вяза, а также расставленных на окне товаров, он улыбнулся так ослепительно, как будто всеми силами старался разогнать мрак. Увидев молодую цветущую девушку вместо худощавой старой девы, он, видимо, был удивлен и сперва сдвинул брови, но потом улыбнулся еще лучезарнее, чем когда-либо.

— Ах, вот оно как! — протянул он. — Вы, я полагаю, помощница мисс Гепзибы Пинчон?

— Да, — ответила Фиби и прибавила с достоинством (потому как джентльмен при всей своей учтивости, очевидно, счел, что она работает здесь за жалованье): — Я кузина мисс Гепзибы и приехала к ней в гости.

— Кузина? Не из деревни ли? Тогда извините меня, — сказал джентльмен, кланяясь и улыбаясь, как никогда еще никто не кланялся и не улыбался Фиби. — В таком случае мы должны познакомиться ближе, потому что, если только я не ошибаюсь самым печальным образом, вы также и моя родственница! Позвольте... Мэри?.. Долли?.. Фиби... да, именно Фиби! Возможно ли, что вы — Фиби Пинчон, единственное дитя моего милого кузена Артура? О, да! Я вижу по вашим губкам, что он был вашим отцом. Да-да! Мы должны познакомиться поближе! Я ваш родственник, моя милая. Вы, верно, слышали о судье Пинчоне?

Когда Фиби присела в ответ на его вопрос, судья наклонился вперед с простительным и даже похвальным намерением — если принять во внимание близость родства и разницу в возрасте — поцеловать свою молодую кузину. К несчастью (непреднамеренно или же просто инстинктивно), Фиби в эту критическую минуту отступила назад, так что ее достопочтенный родственник со своим наклоненным над конторкой туловищем и вытянутыми губами очутился в странном положении человека, целующего воздух. Фиби опустила глаза и, не зная почему, почувствовала, что она краснеет от его взгляда, хотя прежде она легко переносила поцелуи полудюжины кузенов, из которых одни были моложе, а другие даже старше этого чернобрового, седобородого, щеголеватого и благосклонного судьи! Почему же она не позволила ему поцеловать себя?

Подняв глаза, Фиби была удивлена переменой в лице судьи Пинчона. Она была так разительна, как между пейзажем, озаренным сиянием солнца, и пейзажем перед наступлением бури. Теперь это лицо было холодно, жестко и неумолимо, как грозовая туча, собиравшаяся целый день.

«Боже мой! Что теперь будет? — подумала деревенская девушка. — Как он сурово на меня смотрит! Я же не хотела его обидеть. Если он действительно мой кузен, то я готова позволить ему поцеловать меня...»

В то же самое время Фиби с удивлением осознала, что судья Пинчон был оригиналом миниатюры, которую Холгрейв показывал ей в саду, и что именно

это жесткое, суровое, безжалостное выражение его лица солнце выставляло с таким упорством. Следовательно, это было не минутное расположение души, но истинный, только искусно скрываемый, характер? Но едва глаза Фиби успели остановиться на лице судьи, как вся его неприятная суровость исчезла, и она снова почувствовала всю силу его знойной, как летние дни, благосклонности.

— Прекрасно, кузина Фиби! — воскликнул он с выразительным жестом одобрения. — Превосходно, моя маленькая кузина! Вы добре дитя и умеете о себе заботиться. Молодая девица — особенно если она так хороша собой — должна быть очень скуча на поцелуй.

— Право, сэр, — сказала Фиби, стараясь обратить все в шутку, — я не хотела показаться вам суровой.

Впрочем, потому ли, что их знакомство началось так неудачно, или по какой-то другой причине, но она все-таки держалась с судьей довольно осторожно, что вовсе не было свойственно ее открытой натуре. Она не могла освободиться от странной мысли, что ее предок-пуританин, о котором она слышала столько мрачных преданий, родоначальник всего поколения новоанглийских Пинчонов и основатель Дома с семьёй шпилями, скончавшийся в нем так загадочно, — что этот пуританин явился теперь собственной персоной в лавочку. В наше время это нетрудно было бы устроить. Вернувшись с того света, ему стоило только провести четверть часа у цирюльника, который тотчас превратил бы его густую пуританскую бороду в пару серых бакенбард, потом сбегать в магазин готового платья, сменить свой бархатный камзол и черный плащ на фрак, жилет и панталоны; наконец, отбросив шпагу, взять трость с золотым набалдашником — и полковник Пинчон, живший за два столетия до нас, выступил бы современным судьей.

Но Фиби была умна и не допускала подобную мысль всерьез. Кроме того, если бы оба Пинчона явились перед ней одновременно, она заметила бы между ними большую разницу, хотя, конечно, и нашла бы сходство. Долгие годы в климате, столь не похожем на тот, в котором вырос предок, неизбежно должен был отразиться на физическом строении потомков. Судья едва ли мог сравниться с полковником объемами тела. Хотя он считался полновесным мужчиной среди своих современников и был очень развит в физическом отношении, однако же, мы думаем, что если взвешивать нынешнего судью Пинчона на одних весах с его предком, то пришлось бы прибавить к нему по крайней мере одну старинную гирю в пятьдесят шесть фунтов, чтобы привести чашки в равновесие. Лицо

судьи утратило багровый английский румянец, который пробивался сквозь загар на закаленных бурями щеках полковника, и принял желто-бледный оттенок, характеризующий комплекцию его соотечественников. Сверх того, если мы не ошибаемся, в этом потомке пуританина начала уже проявляться и некоторая нервозность. Она придавала чертам его лица подвижность и живость вместо свойственного предку выражения грубой силы.

В старинном надгробном слове, о котором мы уже упоминали, оратор решительно превозносил своего усопшего прихожанина. На его намогильном памятнике начертана хвалебная эпитафия, и сама история, дав ему место на своих страницах, не отвергает твердости и возвышенности его характера. Равным образом и в отношении к судье Пинчону ни публичный оратор, ни сочинитель эпитафий, ни историк – никто не решился бы осудить его добросовестность как христианина, или достоинство как человека, или справедливость как судьи. Но кроме холодных, формальных слов эпитафии, речей оратора и сочинений историка, которые неизбежно теряют много истины от рокового сознания своей публичности, о пуритане сохранились предания, а о судье ходили домашние толки. Зачастую мнение женщин, частных лиц и слуг об общественном человеке бывает весьма любопытным, и ничего нет интереснее огромной разницы между портретом, предназначенным для гравировки, и эскизом, который переходит из рук в руки за спиной оригинала.

Например, предание утверждало, что пуританин питал страсть к обогащению; о судье также, при всей его внешней щедрости, говорили, что он жаден до денег. Грубую доброту в обращении, которую предок сделал своей привычкой, большинство людей считали признаком врожденного добросердечия, пробивавшимся сквозь плотную оболочку мужественного характера. Потомок, сообразно с требованиями более утонченного века, преобразовал эту грубую доброту в великолепную благосклонную улыбку. Пуританин – если верить старинным историям – поддавался некоторым нежным увлечениям. В отношении к судье мы не должны пятнать своих страниц подобными толками, которые, пожалуй, и без того можно услышать. Пуританин был женат трижды и равнодушной жесткостью своего тяжелого характера свел всех трех жен в могилу. Здесь, впрочем, параллель между предком и потомком некоторым образом нарушается. Судья был женат на одной только женщине и потерял ее на третьем или четвертом году брака. Ходила, впрочем, басня, что смертельный удар был нанесен бедной леди вскоре после свадьбы и что она никогда уже не

была весела, потому как муж заставлял ее приносить ему кофе в постель каждое утро.

Но фамильное сходство – предмет неисчерпаемый. Прибавим только, что пуританин – по крайней мере так утверждают предания – был смелым, властолюбивым, неутомимым, мужественным; что он преследовал свои цели с постоянством, не знавшим ни отдыха, ни угрызений совести; что он попирал ногами слабого и, если это было нужно для достижения цели, готов был решиться на все, чтобы побороть сильного. Похож ли был на него судья в этом отношении, читатель увидит из дальнейшего нашего рассказа.

Едва ли хоть одна из этих параллелей была известна Фиби. Она родилась и выросла в деревне и не знала большей части фамильных преданий, связанных с Домом с семьёй шпилями. Но одно обстоятельство, неважное само по себе, ужаснуло ее. Она слышала о проклятии, которое Моул, казненный колдун, послал с эшафота полковнику Пинчону – что Бог напоит его кровью, – и знала о простонародном толке, будто бы эта кровь время от времени бурлит в горле у Пинчонов. Обладая здравым смыслом и, главное, происходя из рода Пинчонов, Фиби считала эту басню нелепостью, какой она и была. Но старые суеверия, передаваясь из уст в уста через целый ряд поколений, производят на нас сильное действие. Поэтому-то, когда Фиби услышала бульканье в горле у судьи Пинчона, которое было для него делом обычным и, хотя происходило непроизвольно, не показывало ничего особенного, кроме разве что, как полагают некоторые, предрасположенности к апоплексии, – когда молодая девушка услышала это странное и неприятное бульканье, она выпучила глаза и всплеснула руками.

Со стороны Фиби было довольно глупо смутиться от такой безделицы и непростительно обнаружить свое смущение перед человеком, которого эта безделица касалась больше всех. Но этот казус так странно согласовывался с прежними ее представлениями о полковнике и судье, что в эту минуту он показался ей тождественным с ними.

– Что с вами, милая? – спросил судья Пинчон, бросив на девушку жесткий взгляд. – Вы чего-то испугались?

– О, ничего, сэр, ничего совершенно! – ответила Фиби с улыбкой, сердясь на саму себя. – Но, может быть, вы желаете поговорить с моей кузиной Гепзибой? Пrikажете позвать ее?

– Подождите минутку, сделайте одолжение, – остановил девушку судья, снова засияв улыбкой. – Вы, кажется, немножко расстроены сегодня. Городской воздух, кузина Фиби, не соответствует вашим здоровым привычкам? Или вас что-то тревожит? Не произошло ли чего-нибудь особенного в семействе кузины Гепзибы? Приезд, а? Я угадал? В таком случае в вашем беспокойстве нет ничего удивительного, моя маленькая кузина. Жизнь в одном доме с таким гостем может еще как встревожить невинную молодую девушку!

– Вы говорите загадками, сэр, – сказала Фиби, вопросительно глядя на судью. – В доме нет никакого ужасного гостя, кроме бедного, кроткого, похожего на ребенка, человека, должно быть, брата кузины Гепзибы. Боюсь только – и вы это должны знать лучше меня, сэр, – что он не в полном рассудке, но с виду настолько кроток и спокоен, что мать могла бы оставить с ним своего ребенка. Ему ли меня тревожить! О, нет, ничуть!

– Я очень рад слышать такой приятный отзыв о моем кузене Клиффорде, – сказал благосклонный судья. – Много лет тому назад, когда мы оба были мальчишками, а потом и молодыми людьми, я был очень к нему привязан и до сих пор испытываю к нему участие и интересуюсь всем, что его касается. Вы говорите, кузина Фиби, что он, по-видимому, slab рассудком. Да дарует ему небо по крайней мере столько ума, чтобы раскаяться в своих прошлых грехах!

– Я думаю, никто, – заметила Фиби, – не имеет так мало причин для раскаяния, как он.

– Возможно ли, моя милая, – произнес судья с сострадательным видом, – что вы никогда не слышали о Клиффорде Пинчоне? Что вам вовсе неизвестна его история? Впрочем, тем лучше. Это показывает, что ваша мать имела надлежащее почтение к дому, с которым она была соединена узами родства. Думайте как можно лучше об этом несчастном человеке и надейтесь на лучшее! Это правило, которого мы всегда должны придерживаться в своих суждениях друг о друге, а в особенности нужно соблюдать его в кругу близких родных. Но где же Клиффорд? В гостиной? Я хочу видеть, в каком он состоянии.

– Может быть, мне лучше позвать мою кузину Гепзибу, сэр? – предложила Фиби, не зная, должна ли она преградить вход в дом столь нежному родственнику. – Ее брат уснул после завтрака, и я уверена, что ей будет неприятно, если его разбудят. Позвольте, сэр, предупредить ее.

Но судья обнаружил твердую решимость войти без доклада, и когда Фиби, с живостью человека, движения которого бессознательно повинуются мыслям, встала у него на пути, то он без всяких церемоний отодвинул ее в сторону.

– Нет-нет, мисс Фиби! – сказал он грозно и нахмурил брови. – Останьтесь здесь! Я знаю дом, знаю мою кузину Гепзибу, а также ее брата, и потому моей маленькой деревенской кузине не следует докладывать обо мне!

В последних словах судьи мало-помалу обнаруживались признаки перехода от внезапной жесткости к прежней благосклонности обращения.

– Я здесь дома, Фиби, – уже спокойнее продолжал он. – Не забывайте этого, а вы осoba посторонняя. Поэтому я без всяких предисловий пойду к Клиффорду и заверю его и Гепзибу в своих дружеских к ним чувствах. Им нужно услышать из моих собственных уст, как искренно я желаю служить им. А, да вот и сама Гепзиба!

В самом деле, мисс Пинчон показалась на пороге лавочки. Она услышала голос судьи из внутренней комнаты, где сидела, охраняя сон своего брата. Гепзиба явилась защищать вход в дом с таким же страшным видом, как дракон, который сторожит спящую красавицу. Обычно нахмуренный взгляд ее на сей раз был так свиреп, что становилось ясно: сейчас это отнюдь не от близорукости. Итак, она устремила на судью Пинчона этот полный антипатии взгляд, который должен был если не испугать, то по крайней мере заставить его смешаться; после чего сделала предостерегающий жест рукой и остановилась в дверях, выпрямившись во весь рост. Но мы должны выдать секрет Гепзибы и признаться, что ее врожденная боязливость проявлялась и теперь, в заметном трепете, который – это чувствовала она сама – приводил каждый сустав в ее теле в несогласие с другими.

Может быть, судья знал, как мало истинной смелости скрывается под наружностью Гепзибы. Во всяком случае, будучи джентльменом с крепкими нервами, он быстро оправился и не замедлил подойти к своей кузине с протянутой рукой и с улыбкой до того сияющей и знойной, что если бы она была хоть в половину так тепла, как казалась, то виноградные грозди сразу созрели бы под ее действием. Судья, кажется, намерен был растопить Гепзибу на месте, как будто это была статуя из желтого воска.

– Гепзиба, возлюбленная моя кузина, я в восхищении! – воскликнул он с сильнейшим чувством. – Теперь, по крайней мере, вам есть ради чего жить. Да и

все мы, ваши друзья и родные, теперь имеем новую цель в жизни. Я не хотел терять ни минуты и поспешил сюда предложить вам свои услуги. Я готов пожертвовать чем угодно, лишь бы Клиффорду было хорошо. Он принадлежит всем нам. Я знаю, как ему это нужно – ему всегда это было нужно при его тонком вкусе и любви к прекрасному. Всем, что у меня есть в доме – картинами, книгами, вином, лучшими кушаньями, – всем этим он может располагать. Мне бы доставило величайшее удовольствие свидание с ним. Могу ли я пойти к нему тотчас?

– Нет, – отрывисто бросила Гепзиба: голос ее так дрожал, что она не решалась произнести длинную фразу. – Он не может принимать посетителей!

– Посетителей, милая кузина! Вы меня называете посетителем? – вскрикнул судья, который, по-видимому, был задет холодностью этой фразы. – Так позвольте же мне быть гостем Клиффорда и вашим также, но в моем доме. Переедем тотчас! Деревенский воздух и все удобства, даже роскошь, которыми я окружил себя, действуют на него чудным образом. А мы с вами, милая Гепзиба, вместе позаботимся о том, чтобы наш милый Клиффорд был счастлив. Переедем ко мне тотчас!

Слушая эти благородные и гостеприимные предложения, Фиби готова была броситься к судье Пинчону и добровольно одарить его поцелуем, хотя еще недавно сама отшатнулась от него. Но на Гепзибу улыбка судьи действовала иначе: она сделала ее сердце в десять раз суровее.

– Клиффорд, – сказала она отрывисто, все еще волнуясь, – Клиффорд здесь у себя дома!

– Да простит вас небо, Гепзиба, – молвил судья Пинчон, почтительно возводя глаза к потолку, – если в вас сейчас говорит старинная вражда! Я пришел к вам с открытым сердцем, готовый принять в него вас и Клиффорда. Неужели вы отвергнете мою помощь, мои искренние предложения? Все это ради вашего же благополучия! На вас падет тяжкая ответственность, кузина, если вы запрете вашего брата в этом печальном доме, в то время как он мог бы наслаждаться восхитительным деревенским простором моего жилища.

– Нет, я не отпущу Клиффорда, – сказала Гепзиба прежним отрывистым тоном.

– Женщина! – вскрикнул судья, предаваясь своей досаде. – Что все это значит? Неужели у тебя есть другие средства? Нет, быть не может! Берегись, Гепзиба,

берегись! Клиффорд находится на краю мрачной пропасти! Но что мне рассуждать с этой старухой? Дорогу! Я должен увидеть самого Клиффорда!

Гепзиба закрыла своей худощавой фигурой дверь и даже как будто увеличилась в объеме, взгляд ее также сделался ужаснее, потому что в сердце у нее теперь было еще больше страха. Но судью Пинчона, полного решимости пройти, остановило не это, а голос, донесшийся из внутренней комнаты. Это был слабый, дрожащий, жалобный голос, выражавший беспомощность и испуг.

— Гепзиба! Гепзиба! Упади перед ним на колени! Целуй ноги его! Умоляй его не входить сюда! О, пусть он надо мной сжалится! О, пощади! Пощади!

При первых же звуках этого слабого голоса в глазах судьи вспыхнул яркий огонь, и он быстро двинулся вперед с каким-то неописуемо свирепым и мрачным выражением лица. Чтобы узнать судью Пинчона, нужно было видеть его в эту минуту. Теперь он может улыбаться, сколько хочет: он скорее заставит созреть виноградные гроздья или пожелтеть тыквы, нежели изгладит из памяти наблюдателя впечатление, произведенное этим своим взглядом. Он был тем ужаснее, что в нем выражались не гнев или ненависть, но какое-то лютое стремление истреблять все на своем пути.

Но не клевещем ли мы на этого человека? Посмотрите теперь на судью! Он, по-видимому, осознал, что поступил дурно, навязываясь со своими родственными чувствами людям, неспособным оценить их. Он дождется лучшего момента и будет готов помогать им тогда с таким же усердием, как и в настоящую минуту. Посмотрите, какая всеобъемлющая благосклонная улыбка сияет на его лице! Она ясно говорит о том, что судья Пинчон принял Гепзибу, маленькую Фиби и невидимого Клиффорда вместе со всем остальным миром в свое огромное сердце и нежит их в волнах своей любви.

— Вы меня обижаете, милая кузина Гепзиба! — сказал он, сперва нежно подав ей руку, а потом надевая перчатку в знак того, что собирается уйти. — Очень обижаете! Но я прощаю вас и постараюсь заставить вас думать обо мне лучше. Так как наш бедный Клиффорд находится сейчас в таком жалком состоянии, я не должен настаивать на свидании с ним. Но я буду следить за его выздоровлением. Конечно, я не стану заставлять его или вас, милая кузина, чтобы вы сознались в вашей ко мне несправедливости. А если бы это случилось, то я не желал бы мести — только того, чтобы вы приняли от меня все услуги, какие я могу предложить вам.

Судья поклонился Гепзибе, кивнул Фиби с видом отеческой благосклонности, вышел из лавочки и с ясной улыбкой зашагал по улице. В то достопамятное утро добродушный вид судьи Пинчона был до такой степени жарок, что (по крайней мере так говорили в городе) понадобилась лишняя поливальная бочка, чтобы осадить пыль, поднявшуюся после того, как он прошел по улице.

Едва он исчез из виду, как Гепзиба смертельно побледнела и, подойдя неровным шагом к Фиби, машинально опустила руки на плечи девушки.

– О, Фиби!.. – проговорила она. – Этот человек был ужасом всей моей жизни! Неужели у меня никогда, никогда не хватит смелости высказать ему все, что я о нем думаю?

– Неужели он так зол? – изумилась Фиби. – Но его предложения были действительно щедры и добродушны.

– Не говори об этом – у него каменное сердце! – ответила Гепзиба. – Иди поговори с Клиффордом! Займи и успокой его. Он ужасно растревожится, если увидит меня в таком волнении. Иди, милое дитя мое, а я пока присмотрю за лавочкой.

Фиби повиновалась, но продолжала размышлять о сцене, свидетельницей которой стала; она гадала, неужели судья действительно может быть не тем справедливым и прямодушным человеком, каким она его видела. Сомнение такого рода вызывало у девушки тревогу, но она успокоилась немного, объяснив себе слова Гепзибы взаимным ожесточением чувств в фамильных раздорах.

### Глава IX. Клиффорд и Фиби

Нельзя не согласиться с тем, что было нечто возвышенное и благородное в натуре нашей бедной Гепзибы, или же что ее характер укрепился в бедности и печали и таким образом обрел героизм, который никогда не был бы присущ этой женщине в других обстоятельствах. Гепзиба долгие годы влачила печальное, одинокое существование – по большей части отчаиваясь в нем, но всегда повторяя себе, что это лучшая участь, какой она может ожидать на земле. Собственно для себя она ничего не просила у Провидения: она просила только даровать ей возможность посвятить себя брату, которого она так любила и которому осталась преданной несмотря ни на что. Теперь, на закате своих дней, он вернулся к ней после долгого и горестного отсутствия, и его жизнь зависела

от ее любви и заботы. Она исполняла свое призвание. Она решилась – наша бедная, старая Гепзиба, в своем платье из тяжелого шелка, со своими окаменелыми суставами и нахмуренными бровями, – решилась на все возможное и готова была бы сделать во сто раз больше! Мы мало видели взглядов трогательнее – и да простит нас небо, если невольная улыбка сопровождает эти слова, – мало видели взглядов, в которых бы выражался такой истинный пафос, как в глазах Гепзибы в это первое утро.

С каким терпением старалась она окружить Клиффорда своей любовью и создать для него целый мир, так, чтобы он не чувствовал в нем никакого холода и скуки! Как она пыталась развлечь его! Как жалки, но как великодушны были эти ее попытки!

Помня о его прежней любви к стихотворениям и прочим произведениям фантазии, она открыла сундук с книгами и достала сочинения авторов, которые в то время считались лучшими. В одном томе был переплетен Поп вместе с Рапом и Локком, а в другом – Татлер с Драйденом. Золото на их корешках давно потемнело, а страницы потеряли первоначальную белизну и лоск. Клиффорд остался равнодушен к этим авторам. Все подобные им, любимые современной публикой, писатели через одно или два поколения неизбежно теряют свое очарование, и потому едва ли можно было ожидать, что они произведут какое-нибудь впечатление на ослабленный ум своего прежнего поклонника. Кроме того, Гепзиба надоела своему слушателю отсутствием выразительности в чтении; она как будто не обращала никакого внимания на смысл того, что читала, – напротив, это занятие, очевидно, казалось ей скучным. Голос ее, от природы жесткий, за годы печальной жизни сделался похожим на какое-то карканье. Это неприятное карканье, сопровождающее каждое радостное и грустное слово, свидетельствует о глубоко укоренившейся меланхолии и рассказывает историю бедствий, перенесенных человеком. Он производит на слушателя такое действие, как будто вместе с ним вырывается из души что-то мрачное, или – употребим более умеренное сравнение – это жалкое карканье, проходя сквозь все изменения голоса, напоминает собой черную шелковую нитку, на которую нанизаны хрустальные зерна речи, получающие от нее свой цвет. Такие голоса жалуются нам на погибшие надежды и как будто просят смерти и погребения вместе с ними!

Заметив, что Клиффорд не становится веселее от ее чтения, Гепзиба принялась искать в доме другие средства для более приятного времяпрепровождения. Вдруг ее взгляд остановился на клавикордах Элис Пинчон. Это была минута великой

опасности, потому что, несмотря на страшные предания, сопряженные с этим инструментом, и на печальные арии, которые, согласно слухам, играли на нем невидимые пальцы, – преданная сестра воодушевилась было мыслью спеть что-нибудь для Клиффорда, аккомпанируя себе на клавикордах. Бедный Клиффорд! Бедная Гепзиба! Бедные клавикорды! Как бы вы были жалки все трое вместе! Только какой-то благодетельный дух – может быть, невидимое вмешательство самой давно погребенной Элис – отвратил угрожавшее им бедствие.

Но худшим из всех зол – самый тяжкий удар судьбы для Гепзибы и, может быть, также для Клиффорда – было его непреодолимое отвращение к ее наружности. Черты лица, и так никогда не отличавшиеся приятностью, а теперь огрубевшие от старости, горя и досады; платье и в особенности тюрбан; неловкие и странные манеры, усвоенные в уединении, – все это вынуждало любителя прекрасного отворачивать от нее глаза. Чем-то исправить такую антипатию было невозможно. Она будет последним чувством, которое умрет в нем. В последнюю минуту, когда замирающее дыхание будет слабо пробиваться сквозь его уста, он, без сомнения, пожмет руку Гепзибы в знак горячей признательности за ее беспредельную любовь и закроет глаза – не столько для того, чтобы умереть, сколько для того, чтобы не смотреть больше на ее лицо. Бедная Гепзиба! Она долго размышляла наедине, как помочь своему горю, и наконец придумала приколоть ленты к своему тюрбану, но, также по внушению какого-то благодетельного духа, оставила это намерение, которое, возможно, стало бы роковым для предмета ее нежных попечений.

Кроме невыгодного впечатления, производимого наружностью Гепзибы, во всех ее движениях сквозила какая-то неуклюжесть, которая делала ее неспособной даже на самые простые услуги. Она знала, что только раздражает Клиффорда, и потому обратилась за помощью к Фиби. В ее сердце не было никакой низкой ревности. Если бы Провидению угодно было наградить Гепзибу за героическую верность, сделав ее непосредственным орудием счастья Клиффорда, это доставило бы ей радость, глубокую и истинную. Это стоило бы всех прошлых ее страданий. Но подобное было невозможно, и потому она предоставила свою роль Фиби, вверив ей самое драгоценное из своих прав. Фиби приняла на себя эту обязанность весело, как принимала все, и одна уже простота ее чувства дала ей возможность большего успеха.

Эта девушка стала добрым гением брата и сестры. Угрюмый и запустелый Дом с семью шпилями, казалось, совершенно преобразился с тех пор, как она

появилась; гниль перестала въедаться в старые бревна его остова; пыль перестала осыпаться так густо, как прежде, со стариных потолков на пол и мебель комнат, или, по крайней мере, в них то и дело появлялась с щеткой маленькая хозяйка, легконогая как ветер, подметающий садовую аллею. Тени мрачных происшествий, поселившихся в пустых и печальных комнатах, и тяжелый запах, который смерть столько раз оставляла после себя в спальнях, вынуждены были уступить очистительному действию, которое оказывало на атмосферу всего дома присутствие молодого, свежего и здорового организма. У Фиби не было совершенно никакого недуга (если бы он был, то старый дом превратил бы его в неизлечимую болезнь). Душа ее походила по своему могуществу на небольшое количество розовой эссенции в одном из принадлежавших Гепзибе огромных, окованных железом сундуков, которая наполняла своим благоуханием разного рода белье, кружева, платки, чепчики, сложенные платья, перчатки и другие хранившиеся там сокровища. Подобно тому, как каждая вещь в этом сундуке делалась приятнее от розового запаха, мысли и чувства Гепзибы и Клиффорда, при всей своей мрачности, становились счастливее в присутствии Фиби.

Брату Гепзибы, или кузену Клиффорду, как начала называть его Фиби, она в особенности была необходима. Нельзя сказать, что он разговаривал с ней или обнаруживал тем или иным образом удовольствие от ее общества, но, если она долго не появлялась, он становился сердитым и нервным, ходил взад-вперед по комнате или же сидел угрюмо в кресле, опустив голову на руки и реагируя вспышками недовольства на все попытки Гепзибы развлечь его. Присутствие Фиби и живительное действие ее свежести на его увядшую жизнь были единственными его потребностями. Эта девушка была одарена деятельной душой, которая редко оставалась совершенно спокойной и в чем-нибудь не проявлялась, — подобно тому, как неистощимый фонтан никогда не перестает бить вверх. Девушка умела петь, и это умение было до такой степени естественным, что вам не пришло бы в голову спросить ее, где она приобрела его или у какого учителя училась, как вы не стали бы задавать эти вопросы птичке, в тоненьком голоске которой нам слышится голос Создателя так же ясно, как и в самых громких раскатах грома. Пока Фиби пела, она могла свободно расхаживать по дому. Клиффорд был в равной степени доволен вне зависимости от того, доносился ли ее сладкий, воздушно-легкий голосок из верхних комнат или из коридора, ведущего в лавочку, или пробивался сквозь листья груши из сада вместе с дрожащим светом солнца. Он сидел спокойно, и на лице его светилось удовольствие — то явственное, то едва уловимое, по мере того как

приближались и отдалялись звуки песни. Но, впрочем, он казался довольнее, когда Фиби сидела у его ног, на низенькой скамеечке.

Он становился моложе, когда Фиби была рядом. Красота – не вполне, конечно, материальная, а такая, которую художник долго подмечает, чтобы отразить на своем полотне, – однако же, красота иногда появлялась в нем и озаряла его лицо. Даже более чем озаряла: она преображала это лицо выражением, которое можно было объяснить только сиянием избранной и счастливой души. Эти седые волосы и морщины со своей повестью о бесконечных горестях, которые разрезали лоб будто в напрасном усилии рассказать непонятную уму историю страданий, на минуту исчезали, и тогда человек проницательный мог бы увидеть в Клиффорде некоторую тень того, кем он некогда был.

Весьма вероятно, что Фиби плохо понимала характер, на который оказывала такое благотворное воздействие. Да ей и не было нужды понимать. Огонь озаряет радостным светом целый круг людей перед камином, но к чему ему знать характер одного из них? Впрочем, в чертах Клиффорда было нечто тонкое и деликатное, что такая девушка, как Фиби, не вполне могла постигнуть. Между тем для Клиффорда практичность и простота ее натуры были сильными чарами. Правда, ее красота, и красота почти совершенная в своем собственном роде, была для этого необходимым условием. Если бы у Фиби были грубые черты лица, жесткий голос и неловкие манеры, то пусть бы даже под этой несчастной наружностью скрывались все богатейшие дарования человеческие – она бы тем больше стесняла чувства Клиффорда недостатком красоты. Но ничего прелестнее, чем Фиби, ему никогда не являлось, и потому для этого человека, который еще не успел насладиться бытием, в душе которого лик женщины все больше терял свою теплоту и в конце концов был, подобно картинам заключенных художников, доведен наконец до самой холодной идеальности, – для него этот маленький образ, выхваченный из веселой домашней жизни, был тем единственным, что могло вдохнуть в него жизнь. Люди, изгнанные из родной страны или странствующие на чужбине, даже если и оказываются среди лучшего общественного устройства, ничего так не желают, как вернуться назад. Они одиноки, где бы ни находились: в горах или в темнице. Присутствие Фиби делало все вокруг домом, то есть тем местом, куда инстинктивно стремятся изгнанник, узник, бездельник, самый низкий и самый лучший из людей. Она олицетворяла действительность. Пока вы держали ее руку в своих, мир для вас не был призраком.

Изучив этот вопрос, мы можем найти объяснение часто встречающейся загадке: почему поэты выбирают себе подруг не по сходству поэтического дарования, но по тем качествам, которые могут составить счастье грубого ремесленника. Вероятно, потому, что в своем высоком парении поэт не выносит человеческого общества, но ему кажется ужасным спуститься на землю и быть чужим.

Было что-то прекрасное в отношениях, установившихся между этими двумя людьми, постоянно льювшими друг к другу, несмотря на разделявшие их годы. Со стороны Клиффорда это было чувство мужчины, который никогда не испил чаши страстной любви и знал, что теперь уже слишком поздно. Он сознавал это с инстинктивной деликатностью, которая пережила его умственное разрушение. Таким образом, его чувство к Фиби, не являясь отеческим, казалось не менее чистым, как если бы она была его дочерью. Правда, он все же был мужчиной и смотрел на нее как на женщину. Она была для него единственной представительницей женской половины человечества. Он ясно понимал все прелести, составляющие принадлежность ее пола. Все ее маленькие женские проказы, распускающиеся в ней, как цветы на молодом плодовитом дереве, имели на него свое действие и иногда заставляли даже его сердце биться сильнее. В такие минуты – редко его оживление не было минутным – этот оцепеневший человек становился полным гармонии существом, подобно тому, как долго молчавшая арфа вдруг наполняется звуками, когда ее струн коснется рука музыканта. Он читал Фиби, как читал бы приятную и простую историю; он слушал ее, как будто она была стихами о домашней жизни. Она была для него олицетворением всего, чего он не вкусил на земле.

Но мы напрасно стараемся облечь эту идею в слова. В языке человеческом не существует выражения, соответствующего ее красоте и глубокому пафосу. Клиффорд, этот человек, созданный для счастья, но до сих пор так его и не познавший, этот бедный, сбившийся с пути мореплаватель с Благословенных островов, застигнутый в море бурей в утлой барке, был выброшен последней, разбившей его судно волной на спокойный берег. Здесь, в то время как он лежал полумертвый, благоухание земной розы коснулось его обоняния и вызвало в нем воспоминания или фантазии обо всей живой, дышащей красоте, среди которой он должен был бы жить. Он вдыхает сладостный аромат в свою душу и умирает. Вот кем был Клиффорд в своем перемежающемся оцепенении.

Как же Фиби относилась к Клиффорду? Она была не из тех, кого увлекает все странное и исключительное в человеческом характере. Таинственность Клиффорда мало занимала Фиби и была скорее причиной ее досады, нежели

возбуждающей прелестью – какой, вероятно, являлась бы для многих женщин. Однако же девушка была тронута не загадочным мраком его положения, ни даже нежностью его натуры, а просто возвзванием его отчаянной души к ее полному живой симпатии сердцу. Она бросила на него взгляд любви потому, что он так нуждался в любви и, по-видимому, так мало получил ее в жизни. С неизменным тактом Фиби узнавала, что ему было нужно, и удовлетворяла его немощную душу. Болезнь таких людей, как Клиффорд, зачастую становится неизлечимой оттого, что их недуг отражается в поведении окружающих – они вынуждены вдыхать яд собственного дыхания в бесконечном повторении. Фиби же не знала, что именно повреждено в уме или сердце Клиффорда, и доставляла своему бедному пациенту чистейший воздух. Она была для него благоухающим цветком.

Нужно, однако, сказать, что и ее лепестки иногда поникали от тяжелой атмосферы, которая окружала ее. Фиби сделалась задумчивее прежнего. Глядя на бледное лицо Клиффорда, она гадала, какой была его жизнь. Было ли на нем от рождения это покрывало, под которым была скрыта большая часть его души и сквозь которое он сам неясно различал реальный мир, или же серая ткань этого покрывала была соткана каким-нибудь мрачным бедствием? Фиби не любила загадок и желала бы поскорее найти ответ. Несмотря на это, размышления о характере Клиффорда были для нее так полезны, что когда произошедшее в его жизни бедствие мало-помалу стало для нее ясным, оно не произвело на девушку никакого ужасающего действия. Какое бы Клиффорд ни совершил преступление, по мнению света, Фиби знала его так хорошо – по крайней мере, ей так казалось, – что не могла его бояться.

Через некоторое время после появления этого замечательного жильца в доме установился негласный распорядок дня. Утром, после завтрака, Клиффорд засыпал в своем кресле, и если что-нибудь случайно не нарушало тишины, то он до самого полудня витал в облаке грез. В эти часы Гепзиба заботливо сидела подле брата, а Фиби шла в лавочку – об этом распорядке вскоре стало известно покупателям, и те в основном являлись тогда, когда за contadorкой была молодая девушка. После обеда Гепзиба брала свое рукоделие – она вязала длинные чулки из серой шерсти для брата на зиму – и, бросив прощальный и, разумеется, нахмуренный взгляд на брата, а Фиби сделав поощрительный жест, занимала свое место за contadorкой. Тогда наступала очередь девушки быть кормилицей, нянькой – называйте ее как вам угодно – этого седого человека.

## Глава X. Сад Пинчонов

Если бы не Фиби, то Клиффорд под влиянием оцепенения, которое поразило все его жизненные силы, так и сидел бы в своем кресле с утра до вечера. Но Фиби почти каждый день предлагала ему прогуляться по саду, где дядюшка Веннер и Холгрейв починили крышу разрушенной беседки, и теперь в ней можно было найти убежище от солнечных лучей или дождя. Хмель разросся вокруг маленького строения и превратил его в лиственную пещеру со множеством отверстий, сквозь которые, играючи, пробивались лучи солнца.

В этом зеленом приюте волнующегося дневного света Фиби иногда читала Клиффорду. Ее знакомый, художник, приносил ей разные журналы и некоторые стихотворные сочинения, намного приятнее тех, которые Гепзиба выбрала для услаждения своего брата. Впрочем, дело было даже не в самих книгах, а в том, что музыкальный голос Фиби мог то оживлять Клиффорда своим блеском и веселостью, то успокаивать нежным журчанием, напоминающим плеск волны по камням. Что же касается сюжета, который иногда глубоко увлекал деревенскую девушку, не привыкшую к такого рода чтению, то он интересовал ее странного слушателя очень мало или не интересовал вовсе. Картины жизни, страстные или трогательные сцены, ум, юмор и пафос – все это было потеряно для Клиффорда: потому ли, что ему недоставало опыта, чтобы оценить их верность, или потому, что его собственные горести были пробным камнем действительности, против которого устояли бы немногие из чувств, описываемых в романах. Если Фиби начинала весело хохотать над тем, что читала, он тоже порой смеялся из чувства симпатии, но чаще отвечал на ее смех смущенным, вопросительным взглядом. Если слеза – девичья светлая слеза, вызванная воображаемым бедствием, – падала на печальную страницу, Клиффорд или принимал ее за признак действительного горя, или же сердился и с досадой приказывал Фиби закрыть книгу. И правильно делал! Как будто в жизни не достаточно печали, чтобы проводить время за чтением о воображаемых горестях!

Гораздо больше Клиффорду нравилось, когда Фиби говорила с ним и оживляла для него повседневные явления своими описаниями и замечаниями. В садовой жизни находилось немало тем для разговора. Клиффорд никогда не забывал спросить, какие цветы расцвели со вчерашнего дня. Он любил сидеть с каким-нибудь цветком в руке, внимательно рассматривать его и переводить взгляд с лепестков на лицо Фиби, как будто садовый цветок и эта хозяйственная девушка принадлежали к одному семейству. Он наслаждался не одним только

запахом цветка, не одной только его прекрасной формой и нежностью или яркостью его оттенков, он любил эти садовые цветы так, как будто они были одарены умом и способностью чувствовать. Такая симпатия к цветам составляет почти исключительно черту характера женского. Мужчина если и бывает одарен этим качеством от природы, то скоро утрачивает его или начинает пренебрегать им. Клиффорд также давно позабыл это чувство, но теперь обретал его снова, медленно оправляясь от ледяного оцепенения.

Удивительно, сколько приятных происшествий постоянно случалось в этом заброшенном саду с тех пор, как Фиби начала в него заглядывать. В первый же день, когда она приехала сюда, она услышала здесь жужжание пчел, и с тех пор они почти беспрестанно прилетали сюда из бог знает какого упорного желания собирать мед именно здесь. Пчелы забивались в глубину тыквенных цветков в саду Дома с семьёй шпилями, как будто не могли найти других тыкв поближе к своим ульям. Когда Клиффорд слышал их веселое жужжание, он смотрел на них с радостным, теплым чувством, смотрел на голубое небо, на зеленую траву и на весь этот вольный Божий мир. К чему же нам выяснять, почему пчелы прилетали именно в этот единственный зеленый уголок посреди пыльного города? Бог посыпал их сюда ради Клиффорда. Они приносили с собой в сад роскошное лето.

Когда бобовые стебли зацвели на жердях, среди них обнаружилась одна особенная порода с ярко-красными цветами. Холгрейв нашел эти бобы на чердаке одного из семи шпилей, где, вероятно, какой-нибудь Пинчон-садовод спрятал их в старом комоде, надеясь посадить следующим летом, но сам скорее очутился на садовой гряде смерти. Чтобы проверить, осталось ли хоть одно живое зерно, Холгрейв посадил некоторые из семян, и результатом этого опыта стал великолепный ряд бобов, которые быстро взобрались на самую верхушку жердей, обвив их зеленью со множеством красных цветков. Лишь только развернулась первая почка, вокруг нее появилось несколько колибри, так что теперь, по-видимому, на каждый из сотни цветков приходилось по одной крошечной птичке толщиной с палец. Клиффорд с неописуемым интересом и с детским восхищением наблюдал за ними. Он потихоньку высовывал из беседки голову, чтобы получше их разглядеть, а между тем делал Фиби знак, чтобы она не шевелилась, и ловил на ее лице улыбку. Он не только помолодел: он опять стал ребенком.

Если Гепзибе случалось быть свидетельницей такой сцены, она качала головой с каким-то смешанным выражением удовольствия и грусти. Она говорила, что

Клиффорд всегда – с самого своего детства – восхищался колибри и что его восторг при виде этих птичек был одним из самых ранних признаков его любви к прекрасному.

– Удивительный случай, – замечала добрая леди. – Надо же было художнику посадить эти бобы с красным цветом, который колибри так любят и которого сорок лет уже не видно было в саду, – в то самое лето, когда вернулся Клиффорд!

При этих словах слезы показывались на глазах у бедной Гепзибы, а иногда лились такими потоками, что ей приходилось скрывать свое волнение от Клиффорда в отдаленном углу сада. Все удовольствия этого периода жизни вызывали у нее слезы. Он наступил очень поздно и был подобен бабьему лету, которое скрывает разрушение и смерть под маской солнечных, благоухающих дней. Чем больше детского счастья чувствовал Клиффорд, тем печальнее, по всей видимости, была истина, которую ему предстояло постигнуть. Таинственное и ужасное прошлое уничтожило его память, будущее лежало перед ним каким-то пробелом; у него оставалось только это мечтательное, неосознанное настоящее, но оно, в сущности, было ничем. Даже сам он, как видно было по многим признакам, сознавал, что это только игра – он позабавился и теперь смеется над собой, вместо того чтобы предаваться ей всецело. Всю свою жизнь он учился, как быть несчастным, жалким созданием, подобно тому, как иной учится иностранным языкам, и теперь, с горьким уроком в сердце, с трудом мог постичь свое маленькое, невесомое счастье. Часто в его глазах появлялась мрачная тень сомнения.

– Возьмите мою руку, Фиби, – говорил он, – и сожмите ее крепко, крепко! Дайте мне розу, я схвачу ее за шипы и попробую разбудить себя резкой болью!

Очевидно, он желал испытать это болезненное ощущение для того, чтобы удостовериться посредством наиболее знакомого ему ощущения, что сад, семья почерневших от непогоды старых шпилей, нахмуренный взгляд Гепзибы и улыбка Фиби были действительностью.

Автор совершенно уверен в симпатии читателя, иначе он не решился бы рассказывать мелкие подробности и происшествия, с виду такие ничтожные, не необходимые для того, чтобы дать читателю представление о пребывании Клиффорда в саду. Это был эдем пораженного громом человека, который убежал сюда из страшной пустыни.

Одним из главных предметов его интереса являлось семейство кур. Чтобы угодить Клиффорду, которого тяготило их заключение, кур выпустили на волю, и они бегали теперь по саду, причиняя ему некоторый вред, но вырваться из него им не позволяли с трех сторон соседние строения, а с четвертой – деревянная решетка. Они проводили значительную часть времени у источника Моула, где водились улитки, составлявшие, очевидно, их излюбленное лакомство; даже солоноватая вода источника, неприятная для остального мира, так пришлась им по вкусу, что они беспрестанно ее пробовали, подняв кверху голову и чмокая клювом, совсем как знатки вин вокруг бочки. Куры вообще довольно любопытные создания и достойны изучения; но быть не может, чтобы существовали еще где-нибудь птицы такой странной наружности и с такими повадками, как эти.

Выглядели они действительно престранно! Сам Горлозвон (так звали петуха) несмотря на то, что стоял, как на ходулях, на двух высоких ногах, с достоинством во всех своих движениях, был немногим крупнее обыкновенной куропатки, а две его курицы сильно напоминали перепелок; что же касается единственного цыпленка, то он был так мал, что мог бы еще поместиться в яйце, но в то же время уже достаточно оперился и набрался опыта. С каким постоянством наседка заботилась о его безопасности, раздуваясь чуть ли не в два раза и бросаясь каждому любопытному в лицо только за то, что он смотрел на ее отпрыска. С каким усердием она рылась в земле, с какой бесцеремонностью вырывала какой-нибудь превосходный цветок или растение для того только, чтобы достать из-под его корня жирного червяка. Каждую минуту слышны были то ее нервическое кудахтанье, когда цыпленок случайно исчезал в высокой траве или под тыквенным листом, то довольное квохтанье, когда она удостоверялась, что он сидит под ее крылом, то испуганные крики или шумный вызов на бой, когда она замечала на заборе своего злейшего врага, соседского кота, – так что мало-помалу наблюдатель начинал принимать почти такое же сильное участие в этом птенце, как и его мать.

Когда Фиби познакомилась со старой курицей поближе, та позволяла ей иногда брать своего цыпленка в руки, и в то время, когда девушка с любопытством разглядывала крапинки на его крыльях, забавный хохолок на голове и небольшие пучки перьев на каждой ножке, маленькая птичка шурилась на нее с проницательным видом.

Другая курица с самого приезда Фиби находилась в большом отчаянии, причиной которого, как выяснилось впоследствии, была ее неспособность нести

яйца. Но однажды она обратила на себя общее внимание необыкновенно самодовольным видом. Склонив голову набок и гордо глядя по сторонам, она бегала то в один, то в другой угол сада с невыразимо радостным кудахтаньем. Все догадались, что эта, тоже редкая курица, несмотря на то, что ее ставили ниже другой, носила в себе что-то бесценное. Через несколько минут послышалось страшное квохтанье, а затем раздался поздравительный крик Горлозвона и всего его семейства, включая цыпленка, который, по-видимому, так же хорошо понимал происходящее, как его отец, мать и тетка. В тот же день Фиби нашла миниатюрное яйцо – не в обыкновенном гнезде: оно было хитро спрятано под кустом смородины на сухой прошлогодней траве. Гепзиба, выслушав ее донесение, завладела яйцом, решив приготовить его на завтрак Клиффорду, так как яйца этих кур, по ее словам, всегда славились нежным вкусом. Она хотела порадовать брата этим лакомым кушаньем! Горлозвон, похоже, затаил в душе обиду, потому что на другой же день предстал вместе с матерью яйца перед Фиби и Клиффордом и начал говорить им на своем языке речь, которая, может быть, оказалась бы очень длинной, если бы Фиби не пришла в голову мысль отпугнуть их. Обиженный петух удалился на своих длинных ножках в дальний конец сада и не появлялся до тех пор, пока Фиби не предложила ему в знак примирения пряный пирожок.

Мы, без сомнения, остановились слишком надолго у скудного ручейка жизни, который протекал через сад Дома с семьёй шпилями. Но эти мелкие происшествия и радости приносили видимую пользу Клиффорду. В них был земной запах, возвращавший ему здоровье. Некоторые из занятий действовали на него самым благотворным образом. Например, он очень любил, наклонившись над источником Моула, наблюдать за фантасмагорией непрестанно менявшихся фигур, что появлялись от движения воды на мозаике из разноцветного булыжника, которым выложено было дно источника. Клиффорд говорил, что на него оттуда смотрят какие-то лица, прелестные, очаровательно улыбающиеся, и каждое лицо такое розовое, и каждая улыбка такая ясная, что ему становилось грустно, когда они исчезали, и он нетерпеливо ждал появления этого неуловимого волшебства. Но иногда он вдруг вскрикивал: «Черное лицо на меня смотрит!» – и после этого целый день был расстроен. Фиби, наклоняясь над источником подле Клиффорда, не видела ничего подобного – ни красоты, ни безобразия, а только разноцветный булыжник, который как будто двигался от волнения воды в ключе. Чёрное же лицо, пугавшее Клиффорда, было не что иное, как тень от ветки дамасской сливы.

По воскресеньям, после того как Фиби возвращалась с вечерни – она была девушкой набожной и не могла пропустить обедню или вечерню, – в саду непременно устраивался небольшой скромный праздник. Кроме Клиффорда, Гепзибы и Фиби, в нем принимали участие еще два гостя. Одним был художник Холгрейв, который, несмотря на свое знакомство с реформаторами и другие странные и загадочные поступки, продолжал занимать высокое место во мнении Гепзибы. Другим – нам почти совестно это сказать – был почтенный дядюшка Веннер, в чистой рубашке, во фраке из толстого сукна, который казался гораздо приличнее, нежели обыкновенная его одежда, тем более что он был заплатан на локтях и мог считаться совершенно целым, если только не обращать внимания на несколько неодинаковую длину пол. Клиффорд обнаруживал иногда удовольствие при встрече со стариком: Веннер нравился ему своим приятным, веселым характером, напоминавшим сладкий вкус подмороженного яблока, которое иногда поднимаешь в декабре с земли под деревом. Присутствие человека, стоявшего на самой низкой ступени общества, было приятнее для падшего джентльмена, нежели присутствие особы из среднего класса; кроме того, сравнивая себя с дядюшкой Веннером, Клиффорд ощущал, что еще молод, и радовался этому. На самом деле, Клиффорд сам себе не признавался в том, что он уже пожилой человек, и лелеял мечты о прекрасном будущем – мечты, правда, столь неясные, что за ними не могло следовать разочарование, хотя, без сомнения, сердце его сжалось, когда какое-нибудь обстоятельство или воспоминание заставляло его чувствовать себя листком увядшим.

Итак, это странное маленькое общество собиралось в полуразвалившейся беседке. Гепзиба, торжественная и снисходительная, как всегда, была тем не менее самой радушной хозяйкой. Она благосклонно разговаривала с художником и выслушивала мудрые советы – не переставая быть леди – заплатанного философа, знатока деревьев и поверенного всех соседей по мелким делам. Со своей стороны, дядюшка Веннер, познавший жизнь на перекрестках и в других местах, столь же удобных для наблюдений, готов был делиться своим опытом снова и снова.

– Мисс Гепзиба, – сказал он однажды, – мне очень нравятся эти небольшие собрания по воскресеньям. Они очень похожи на то, чем я надеюсь наслаждаться, когда удалюсь на свою ферму.

– Дядюшка Веннер, – заметил Клиффорд сонливым, задумчивым тоном, – вечно толкует о своей ферме. Но я придумываю для него план получше. Подождите еще!

— Ах, мистер Клиффорд, — отозвался престарелый философ, — вы можете придумывать для меня какие угодно планы, только я не откажусь ради них от своего, пусть даже мне никогда и не удастся его исполнить. Мне кажется, что люди заблуждаются, все время накапливая богатства. Если бы я вздумал это делать, я бы, кажется, перестал верить, что Провидение ведет меня, или, по крайней мере, боялся бы, что город перестанет меня кормить.

— Без сомнения, дядюшка Веннер, — произнесла Фиби после некоторой паузы, которая нужна была ей для того, чтобы измерить глубину этого изречения. — Но все же в нашей недолгой жизни неплохо иметь собственный домик и хотя бы небольшой сад.

— Фиби, — сказала Гепзиба, прерывая разговор, — пора уже подавать смородину.

Между тем как заходящее солнце заливало сад своим золотистым светом, Фиби принесла хлеб и фарфоровое китайское блюдо со смородиной, только что собранной с кустов и посыпанной сахаром. В этом состояло все угождение, если не считать воды — разумеется, не из зловещего источника. Между тем Холгрейв, старался сблизиться с Клиффордом, очевидно, побуждаемый своей добротой. Несмотря на это, в наблюдательном взоре художника мелькало иногда — нельзя сказать злое, но вопросительное выражение. Впрочем, он не переставал забавлять общество и до того в этом преуспел, что даже на сумрачном лице Гепзибы исчез оттенок уныния. «Каким любезным он умеет быть!» — думала Фиби. Что касается дядюшки Веннера, то он в знак своей дружбы и благосклонности охотно позволил художнику снять со своей почтенной особы дагеротип и выставить его у входа в мастерскую, так как старика хорошо знали во всем городе.

Гости наслаждались таким образом общением друг с другом, и Клиффорд мало-помалу оживился и сделался веселее всех. В самом деле, прекрасный летний вечер и этот небольшой кружок беззлобных душ могли воодушевить такую восприимчивую от природы натуру и вызвать в ней отклик на происходящее. Клиффорд высказывал и свои собственные мысли — таким живым и причудливым языком, как будто они сверкали сквозь лиственний покров беседки и прятались в ветвях. Без сомнения, он бывал так же весел и с Фиби, но никогда не обнаруживал такого тонкого, хотя и устроенного особенным образом ума.

Однако когда солнечный свет померк, взор Клиффорда также потух. Он стал оглядываться вокруг с грустным видом, как будто потерял что-то драгоценное, и тем горестнее была для него эта потеря, что он даже не знал, чего именно лишился.

– Где же мое счастье? – проговорил он невнятно. – Много, много лет я ждал его! Поздно! Поздно уже! Где же мое счастье?

Бедный Клиффорд! Ты стар и изнурен бедствиями, которые никогда не должны были тебя постигнуть. Ты дряхлый, полоумный, ты живая развалина, ты воплощение смерти, как почти каждый из нас – только некоторые из нас разрушились и умерли не в такой степени и не так явно! У судьбы нет для тебя в запасе никакого счастья, если только спокойная жизнь в старинном наследственном доме с верной Гепзибой, долгие летние дни с Фиби и эти воскресные праздники с дядюшкой Веннером и художником не достойны называться счастьем! Почему же нет? Если это не само счастье, то удивительно на него похоже, прежде всего, этим неуловимым, неосозаемым свойством: оно тотчас исчезает, лишь только всмотришься в него пристальнее. Прими же от судьбы этот удел, пока не поздно, не ропщи, не спрашивай, а воспользуйся им как можно лучше!

## Глава XI. ПОЛУЦИРКУЛЬНОЕ ОКНО<sup>8</sup>

Клиффорд готов был проводить день за днем бесконечно – или, по крайней мере, в летнее время – так, как мы описали на предыдущих страницах. Но Фиби, полагая, что ему полезно разнообразие, предлагала ему иногда посмотреть на уличную жизнь. Для этого они поднимались вместе по лестнице на второй этаж, где в конце коридора было полуциркульное окно необыкновенной величины, закрытое двумя занавесками. Оно выходило на улицу над самим порталом; некогда перед ним был балкон, но перила его давно уже разрушились. Отворив это окно, а сам скрываясь в тени за занавесками, Клиффорд смотрел на мир – по крайней мере, на ту его часть, какой была уединенная улица не слишком многолюдного города. Но они с Фиби представляли собой зрелище намного более любопытное. Бледная, печальная, но чаще простодушно веселая, а иногда и умная физиономия Клиффорда выглядела из-за полинялых красных

---

<sup>8</sup> Полуциркульное окно – окно, проем которого имеет форму прямоугольника, сверху переходящего в полукруг.

занавесей, наблюдая за явлениями уличной жизни с выражением живейшего интереса и то и дело обращаясь за сочувствием к глазам молодой девушки.

Какой уединенной ни была улица Пинчонов, но Клиффорд время от времени обнаруживал на ней много предметов, на которые стоило посмотреть. Вещи, знакомые маленькому ребенку, который глядит на них с самого рождения, казались странными Клиффорду. Вот, например, показывался на улице кэб или полз омнибус, битком набитый людьми, и Клиффорд жадно следил за ними взглядом, но забывал о них прежде, нежели оседала пыль, поднятая лошадьми и колесами. В отношении всего нового (а кэбы и омнибусы были для него внове) ум его, казалось, потерял свойственную ему цепкость и способность удерживать впечатления. Например, по улице Пинчонов в самое жаркое время дня раза два или три проезжала поливальная бочка с водой, оставляя позади себя широкую полосу мокрой земли вместо белой пыли, которая поднималась даже от легкого прикосновения дамской ножки. Клиффорд никак не мог привыкнуть к появлению бочки: он всякий раз выражал при виде нее удивление. Она, судя по всему, производила сильное впечатление на его ум, но воспоминание об этой странствующей бочке исчезало так же быстро, как ее мокрый след на пыльной улице. То же самое было и с паровозом. Клиффорд слышал ржание этой адской кобылицы, а высунувшись немного из окна, мог даже видеть, как вдали через город пролетала, грохоча, вереница вагонов. Эта картина всякий раз действовала на него одинаково неприятно и в сотый раз сопровождалась тем же удивлением, что и в первый.

Ничто не заставляет нас осознавать упадок умственных сил так явственно, как эта неспособность привыкать к новым предметам и удерживать в памяти поражающие нас явления. Постигнутые этим бедствием, мы становимся как бы привидениями.

Клиффорд дорожил всякой стариной – даже такой, которая своей неуклюжестью должна была бы тяготить его разборчивые чувства. Он любил дребезжание старых повозок, например мясника или рыбака, о появлении которых возвещал резкий свист; ему нравилась деревенская тележка торговца зеленью и овощами, которую терпеливая лошадь возила от двери до двери, неподвижно дожидаясь хозяина у каждого дома, пока он торговался с покупателями о цене на репу, морковь, тыкву, бобы, зеленый горох и молодой картофель. Тележка пекаря с резкой музыкой колокольчиков производила на Клиффорда приятное впечатление потому, что эти колокольчики звенели совершенно так, как в прежние времена, что можно было сказать о весьма немногих предметах.

Однажды после обеда точильщик остановился под старым вязом, напротив полуциркульного окна. Дети окружили его с ножницами своих матерей, с кухонными ножами или с отцовскими бритвами и с другими тупыми вещами, чтобы точильщик приложил каждую вещь к своему магическому колесу и вернул владельцу в таком виде, как будто она только что куплена. Неутомимая машина, приводимая в движение его ногой, вертелась беспрестанно; сталь сверкала искрами и издавала пронзительный визг. Это была отвратительная какофония свистящих звуков, но Клиффорда она привела в восхищение. Вместе с говором любопытных детей, следивших за вращением колеса, эти звуки привносили в его душу ощущение деятельной, шумной, озаренной солнцем жизни. Но прелесть этого чувства заключалась главным образом в прошлом, потому что колесо точильщика точно так же визжало в его ушах во времена детства.

Иногда он жаловался, что теперь не ходят почтовые кареты, и огорченно спрашивал, что стало со всеми этими квадратными телегами, в которых приезжали в город жены и дочери фермеров с черникой и ежевикой. Их исчезновение заставляло его опасаться, что ягоды на пастбищах и на деревенских полянах перестали расти.

Но все, что не противоречило чувству прекрасного, не нуждалось в том, чтобы с ним связывались старые воспоминания. Это было замечено, когда итальянский мальчик появлялся со своей шарманкой в прохладной тени вяза. Он тотчас замечал два лица, наблюдавшие за ним из полуциркульного окна, и начинал наигрывать свои мелодии. На плече у него обыкновенно сидела обезьянка, одетая в шотландский плащ; кроме того, у него было целое собрание небольших фигурок в музыкальном ящике. Можно сказать, что это маленькое общество при всем разнообразии своих занятий – тут были сапожник, кузнец, солдат, дама с веером, пьяница с бутылкой, молочница, присевшая под своей коровой, – наслаждалось истинно блаженным существованием и живо приплясывало в буквальном смысле слова. Каждая из фигурок вертелась с необыкновенной живостью. Сапожник вытягивал обеими руками дратву<sup>9</sup>, кузнец бил молотом, солдат размахивал блестящей саблей, дама обмахивалась веером, веселый пьяница пил из своей бутылки, ученый раскрывал книгу с видимой жаждой знаний, молочница энергично доила корову, а скрупульный пересчитывал деньги в огромном сундуке – и все это по одному и тому же повороту рукояти. Вероятно, какой-нибудь художник хотел выразить в этой пантомиме мысль, что мы, смертные, во всех своих делах и забавах – как бы они ни были серьезны или

<sup>9</sup> Дратва – крученая просмоленная или навощенная нитка для шитья обуви, изделий из кожи.

ничтожны – пляшем под одну дудку и, несмотря на свою смешную деятельность, ничего не привносим в прошлое. Всего замечательнее в этом зрелище то, что, как только останавливается музыка, все фигурки вдруг застывают. У сапожника сапоги не окончены, у кузнеца железо не получило никакой формы, у пьяницы в бутылке не убавилось ни капли водки, у коровницы в подойнике не прибавилось ни капли молока, скупец не насчитал ни одной лишней монеты, а ученый не прочел ни одной страницей больше. Все осталось в том самом положении, в каком было, пока этот народ не принимался трудиться, веселиться, копить золото и набираться мудрости.

Между тем обезьяна, виляя тонким хвостом под роскошными складками своего плаща, разместилась у ног итальянца. Она поворачивала свою морщинистую, жалкую рожицу к каждому прохожему, обводила взглядом детей, которые уже окружили музыканта, посматривала на дверь лавочки Гепзибы и вверх, на полуциркульное окно, откуда смотрели на музыканта Фиби и Клиффорд. Она поминутно снимала свою шотландскую шапку, делала поклон и шаркала ножкой. Иногда, впрочем, она обращалась непосредственно к стоящим вокруг нее, протягивая свою маленькую черную ладонь и всем своим видом выражая искреннее желание получить что-нибудь из чужого кармана. Странно похожее на человеческое выражение ее физиономии, умоляющий и коварный взгляд, обнаруживающий готовность погнаться за любой жалкой выгодой, длинный хвост (такой длинный, что она не могла спрятать его под плащом) – все эти черты вместе взятые олицетворяли самую грубую любовь к деньгам. Не было никакой возможности насытить этого жадного чертика. Фиби бросила из окна полную горсть мелких медных монет. Обезьянка подобрала монеты с радостью, отдала итальянцу и тут же возобновила свои пантомимические просьбы.

Прохожие бросали взгляд на обезьяну и продолжали свой путь, не утомляя себя какими-либо выводами или размышлениями. Клиффорд же был существом особого разряда. Он по-детски восхищался музыкой и смеялся при виде фигур, которые она приводила в движение. Но, посмотрев некоторое время на длиннохвостого чертенка, он так был поражен его безобразием, что всерьез заплакал: слабость, которой люди, одаренные нежными чувствами и лишенные способности смеяться, с трудом могут противостоять, когда сталкиваются с чем-то низменным.

Улица Пинчонов иногда оживлялась зрелищами гораздо более торжественными, чем описанные выше, и эти зрелища всегда собирали целую толпу народа. Вместе с дрожью отвращения при мысли о соприкосновении со светом,

Клиффорд чувствовал сильное влечение к нему всякий раз, когда шум и говор толпы долетали до его слуха. Это обнаружилось особенно ясно однажды, когда городская процессия с сотнями развевающихся знамен, с барабанами, флейтами, трубами проходила по улице, топая ногами и нарушая тишину, царившую в Доме с семью шпилями. Как предмет наблюдения процессия на узкой улице не была живописна. Когда зрителю видно каждое лицо, самодовольное и лоснящееся от пота, когда видны покрой одежды и даже пыль на спинах достопочтенных особ, тогда подобная картина кажется ему не более чем детской игрой. Чтобы такая процессия представляла собой зрелище величественное, надо было смотреть на нее издали, с высокой точки, когда она медленно двигается по широкой равнине или городской площади; в отдалении все личности, из которых она состоит, сливаются в широкую массу, в одну огромную жизнь, в одно собирательное тело, одушевленное единым духом. С другой стороны, если человек впечатлительный, стоя в одиночестве, так сказать, на берегу такой картины, будет рассматривать ее в ее совокупности, как широкую реку жизни, полную мрачных тайнств и взывающую из своей глубины к его душе, – тогда близость придаст ей еще больше эффекта. Она до такой степени его очарует, что он с трудом удержится, чтобы не броситься в этот волнующийся поток человеческой симпатии.

Так было и с Клиффордом. Он задрожал, побледнел, бросил встревоженный взгляд на Гепзибу и Фиби, которые сидели с ним у окна. Они вообразили, что он просто взволнован непривычным шумом. Наконец, весь трепеща, он вскочил, занес ногу на окно – еще минута, и он оказался бы на балконе без перил. Вся процессия могла видеть его дикий блуждающий взгляд, его седые волосы, развивающиеся по ветру. Если бы Клиффорд выскочил на балкон, то он, вероятно, бросился бы на улицу. Но его родственницы, испуганные его движениями, которые напоминали движения человека, увлекаемого против воли, схватили Клиффорда за платье и вовремя удержали. Гепзиба вскрикнула. Фиби, которую всякое безумие приводило в ужас, заплакала.

– Клиффорд, Клиффорд! Неужели ты совсем потерял рассудок? – воскликнула его сестра.

– Я едва понимаю, что делаю, Гепзиба, – сказал Клиффорд, тяжело дыша. – Не бойся... все прошло... но если бы я бросился туда и остался жив, мне кажется, я стал бы другим человеком.

В некотором смысле Клиффорд говорил правду. Ему нужно было потрясение, или, может быть, ему нужно было погрузиться глубоко в океан человеческой жизни, потонуть в нем, а потом вынырнуть отрезвленным, выздоровевшим, возвращенным миру и самому себе. А может быть, ему нужно было только последнее лекарство – смерть! Подобное желание восстановить разорванные связи выражалось у него иногда в более тихих порывах, а однажды оно было украшено религиозным чувством.

Это случилось в одно воскресное утро, в одно из тех светлых, тихих воскресений, когда небеса как будто улыбаются всей земле торжественной улыбкой – торжественной и вместе с тем приветливой. В такое воскресное утро мы могли бы почувствовать в самой атмосфере богочтование. Колокола перекликались и вторили друг другу: «Воскресенье! Воскресенье! Да, сегодня воскресенье!» По всему городу разносили они эти благословенные звуки, то тихо, то с живой радостью, то поодиночке, то все вместе восклицая с восторгом: «Воскресенье!» И воздух разносил их звон и смешивал его со звуками святого слова. Проникнутый солнечным сиянием, он вливался в сердца людей и выходил оттуда облеченный в слова молитвы.

Клиффорд сидел у окна с Гепзибой, наблюдая за соседями, проходившими по улице. Все они казались преображенными, так что сама их одежда – будь то фрак пожилого человека, старательно вычищенный в тысячный раз, или пальто мальчика, которое его мать дошила только вчера, – носила на себе какой-то высший отпечаток. Фиби также вышла из старого дома со своим маленьким зеленым зонтиком и оглянулась с прощальной дружеской улыбкой на Клиффорда и Гепзибу, глядевших из полуциркульного окна. В ее наружности была привычная радость и вместе с тем какое-то благоговейное чувство. Она была подобна молитве, произносимой тем языком, которым самая лучшая мать разговаривает со своим ребенком. Фиби была свежа, воздушна и чиста в своем уборе, как будто ничто из того, что на ней было – ни ее платье, ни ее легкая соломенная шляпка, ни маленький платок, ни белоснежные чулки – как будто ничего не было еще ни разу надето, а если и было, то сделалось оттого еще свежее и источало такой запах, точно лежало среди роз.

Девушка помахала рукой Гепзибе и Клиффорду и пошла по улице; она была олицетворением веры, теплым, простым, искренним, облеченным в тело, способное жить на земле, и оживленным духом, достойным жизни на небесах.

— Гепзиба, — спросил Клиффорд, проводив Фиби взглядом до самого угла улицы, — ты никогда не ходишь в церковь?

— Нет, Клиффорд, — ответила та. — Не хожу уже много, много лет!

— Если бы я был там, среди стольких людей, — продолжал он, — то мне кажется, что я молился бы усерднее.

Сестра посмотрела на него и заметила в его глазах тихие слезы, потому что сердце его рвалось из груди, наполненное восторженного богопочитания и любви к близким. Это душевное волнение передалось и Гепзибе. Она взяла его за руку, и они решились пойти и преклонить колени — оба так давно отделенные от мира и, как Гепзиба думала, едва ли оставшиеся друзьями Ему, — преклонить колени посреди народа и примириться разом с Богом и людьми.

— Милый брат, — сказала она с чувством, — пойдем! Мы никуда не причислены, у нас ни в одной церкви нет места для коленопреклонения, но давай отправимся куда-нибудь, где сейчас идет служба, и поместимся хоть у входа. Мы бедные, оставленные всеми люди — может быть, для нас найдется какая-нибудь скамейка!

И вот Гепзиба и ее брат торопливо собирались, нарядились в лучшее свое платье, провисевшее в шкафах или пролежавшее в сундуках так давно, что его пропитал гнилой запах старины, — нарядились в это полинялое платье и отправились в церковь. Они спустились вместе по лестнице — худощавая, пожелтевшая Гепзиба и бледный, истощенный, подавленный старостью Клиффорд. Они отворили входную дверь, переступили через порог и оба пришли в замешательство, как будто очутились в присутствии всего мира и все человечество устремило на них свои глаза. Небесный Отец их как будто отвратил от них в эту минуту свой взор и не послал им ободрения. Теплый уличный воздух заставил их задрожать. Сердца их также содрогнулись при мысли, что они должны сделать следующий шаг.

— Это невозможно, Гепзиба! Слишком поздно! — сказал Клиффорд с глубокой горестью. — Мы привидения! Мы не можем идти к людям, нам нет места нигде, кроме как в этом старом доме, где мы осуждены жить привидениями! К тому же, — продолжал он с чувством, — не вышло бы из этой затеи ничего хорошего. Неприятно и подумать, что я буду внушать ужас моим близким и что дети станут прятаться в платьях своих матерей и глядеть на меня оттуда!

И они вернулись в сумрак коридора и затворили за собой дверь. Но, когда они снова поднялись по лестнице, дом показался им в десять раз печальнее, а воздух в десять раз гуще и тяжелее прежнего – и все от одного только мига свободы, которой повеяло на них с улицы. Они не могли покинуть место своего заключения: их тюремщик только ради шутки отворил перед ними дверь; спрятался за ней, наблюдая за тем, как они станут в нее прокрадываться, и на пороге безжалостно остановил их. В самом деле, какая тюрьма может быть темнее собственного сердца? Какой тюремщик неумолимее к нам, чем мы сами?

Но мы бы дали читателю неверное представление о состоянии духа Клиффорда, изображая его постоянно или преимущественно подавленным горем. Напротив, не было в городе другого человека – это мы смело можем утверждать, – человека, который бы насладился столькими светлыми и радостными минутами. На нем не лежало бремя забот, ему не приходилось беспрестанно искать средства к существованию. В этом отношении он был ребенком, ребенком на всю оставшуюся жизнь. В самом деле, жизнь Клиффорда как будто остановилась в период детства. Он был похож на человека, который оцепенел от сильного удара, а приходя в сознание, стал вспоминать минуты, предшествовавшие оглушившему его слуху. Он иногда рассказывал Фиби и Гепзибе о своих снах, в которых он постоянно видел себя ребенком или юношем. Сны эти были так живы, что он однажды спорил со своей сестрой об особенном узоре на утреннем платье, которое он видел на своей матери предшествовавшей ночью. Гепзиба, со свойственным женщинам знанием дела, утверждала, что узор этот отличался от того, который описывал Клиффорд; но когда она вынула из старого сундука то самое платье, оказалось, что оно было именно таким, каким сохранилось в его памяти.

Пребывая, таким образом, в эпохе детства, он чувствовал к детям симпатию. Хотя чувство приличия удерживало его от вмешательства в их игры, однако, мало было занятий, которые доставляли бы ему столько удовольствия, как смотреть из окна на маленькую девочку, которая катала свой обруч по тротуару, или на мальчиков с мячом. Их голоса также были ему очень приятны, когда они доносились до него издали, как жужжение мух на окне, озаренном солнцем.

Клиффорд, без сомнения, рад бы был разделить их игры. Однажды после обеда он почувствовал непреодолимое желание пускать мыльные пузыри – любимая его забава с сестрой, когда они оба были детьми, как вполголоса сообщила Гепзиба Фиби. Но посмотрите на него в полуциркульном окне с соломенной трубочкой во рту! Посмотрите на него, с его седыми волосами и вялой,

неестественной улыбкой! Посмотрите, как он пускает пузыри из окна на улицу! Что такое эти мыльные пузыри, если не маленькие неосозаемые миры, в которых отражается действительность в ярких красках воображения? Любопытно было наблюдать, как прохожие смотрели на эти переливающиеся пузыри. Некоторые останавливались, глядели на них несколько минут и, быть может, уносили с собой прелестное воспоминание о мыльных пузырях до поворота на другую улицу; другие с досадой поднимали глаза вверх, как будто бедный Клиффорд обидел их, отправив прекрасные видения летать так близко над пыльной дорогой. Многие поднимали палец или трость, чтобы пронзить мыльный пузырь, и злобно радовались, когда воздушный шарик с отражавшимися в нем небом и землей исчезал, как будто его никогда и не было.

Наконец, в то самое время, когда один пожилой джентльмен весьма почтенной наружности проходил мимо, большой мыльный пузырь спустился величественно вниз и лопнул как раз у него на носу. Он поднял глаза, и его острый взгляд в одно мгновение проник в темную глубину полуциркульного окна. Лицо его тут же расплылось в ослепительной улыбке.

– Ага, кузен Клиффорд! – воскликнул судья Пинчон добродушным голосом, в котором, однако, звучал едкий сарказм. – Как! Вы все еще надуваете мыльные пузыри?

Клиффорд смертельно побледнел. Вне зависимости от того, что произошло между ними в прошлом, судья всегда внушал ему инстинктивный страх, который свойственен слабым, нежным и чутким натурам в присутствии грубой силы.

## Глава XII. Художник

Трудно предположить, что жизнь особы, от природы такой деятельной, как Фиби, могла бы ограничиваться тесными пределами старого дома Пинчонов. В долгие летние дни Клиффорд ложился раньше захода солнца. Не физическое движение утомляло его, потому что – за исключением недолгой работы мотыгой, прогулки по саду или, в дождливую погоду, обхода пустых комнат – он постоянно испытывал потребность оставаться в неподвижности. Но монотонность, которая производила бы отупляющее действие на ум другого человека, не была монотонностью для Клиффорда. Он находился в состоянии восстановления и черпал пищу для ума из всего, что видел или слышал, как маленький ребенок.

Клиффорд обычно засыпал совершенно истощенный, когда последние солнечные лучи еще пробивались сквозь занавески его постели или играли на стенах комнаты. И в то время, когда он засыпал рано, подобно всем детям, и видел во сне детство, Фиби могла посвящать остаток дня тому, к чему лежала ее душа. Эта свобода была необходима даже ее натуре, столь мало подверженной болезненным влияниям. Старый дом, как мы уже сказали, был проникнут разрушительной ветхостью; вредно дышать только таким воздухом. Гепзиба, несмотря на некоторые ценные качества, скрашивавшие ее недостатки, почти помешалась от долгого добровольного заключения в этом месте, без всякого другого общества, кроме известного набора мыслей, одной привязанности и одного горького чувства обиды. Клиффорд, как это легко понять, был настолько бездеятелен, что не мог оказывать нравственного влияния на своих собеседниц, несмотря на всю искренность и исключительность их отношений. Однако же связи между живыми существами гораздо тоньше и повсеместнее, нежели мы полагаем. Например, цветок, как заметила Фиби, быстрее увядал в руках Клиффорда или Гепзибы, нежели в ее собственных. Вследствие того же закона, эта цветущая девушка, посвящая всю себя этим двум больным душам, неизбежно должна была поникнуть и побледнеть скорее, чем если бы ее голова поклонилась на молодой и счастливой груди. Если бы она время от времени не дышала свежим воздухом, гуляя по предместью или вдоль морского берега; если бы не повиновалась иногда желанию, естественному для новоанглийской девушки, послушать лекцию по метафизике или философии или побывать на концерте; если бы не ходила по городским лавкам, покупая товары для лавочки Гепзибы, а иногда приобретая для себя какую-нибудь ленту; если бы не читала Библию в своей комнате и не посвящала некоторое время мыслям о матери и родной деревне, — если бы, словом, у нее не было всех этих нравственных лекарств, то наша бедная Фиби скоро исхудала бы, а лицо ее покрылось бы нездоровой бледностью — предвестницей безрадостного будущего.

Даже теперь в ней заметна была явная перемена — перемена, достойная отчасти сожаления, хотя она придала ей новую прелесть. Фиби не была уже постоянно весела, как прежде. Глаза ее сделались чернее и глубже, а иногда своей бесконечной глубиной походили на артезианские колодцы. Она повзрослела и была теперь скорее женщиной, нежели той юной девушкой, какой мы увидели ее впервые, когда она спрыгнула со ступеньки омнибуса.

Единственным молодым человеком, с которым часто общалась Фиби, был Холгрейв. Если бы эти молодые люди встретились при других обстоятельствах,

то ни один из них не думал бы о другом долго – разве только чрезвычайное несходство их характеров было бы побуждением к взаимному сближению. В первые дни своего знакомства с Холгрейвом, Фиби держала себя по отношению к нему намного осторожнее, чем это было свойственно ее простой и искренней натуре, и Холгрейв тоже не очень-то раскрывал ей душу. До сих пор она не могла утверждать, что знала его хорошо, хотя они встречались ежедневно и беседовали по-дружески и даже фамильярно.

Художник вкратце рассказал Фиби о своей жизни. Он был еще молод, однако его жизнь казалась настолько богатой приключениями, что по ней можно было бы написать очень любопытный томик автобиографии. Холгрейв не мог похвалиться знатностью своего происхождения: он был сыном необразованных и бедных родителей; что же касается его воспитания, то оно ограничивалось только несколькими месяцами учебы в деревенской школе. Предоставленный самому себе, он еще мальчиком вынужден был искать средства к существованию, что помогло развиться его врожденной силе воли. Хотя ему было только двадцать два года (без нескольких месяцев, которые равны годам при такой жизни), он уже успел поработать в должности учителя в деревенской школе, приказчиком в деревенском магазине и в то же время или после – редактором политической деревенской газеты; потом он путешествовал по Новой Англии и центральным штатам в качестве разносчика одеколона. Кроме того, он изучал в теории и на практике зубную медицину, и притом с успехом. Затем, записавшись на какую-то должность на пакетботе, посетил Европу, видел Италию, бывал во Франции и Германии. А недавно читал публичные лекции о месмеризме, к которому имел замечательную способность (как сам он уверял).

Настоящее его увлечение дагеротипией имело в его глазах не больше цены, чем предшествовавшие. Он принялся за этот промысел с беззаботностью искателя приключений, которому надо было чем-нибудь зарабатывать себе на пропитание, и готов был бросить его с такой же беззаботностью, если бы нашел другую, более приятную работу. Но что было особенно замечательно в молодом человеке и обнаруживало в нем необыкновенное равновесие нравственных сил, так это то, что он при всех превратностях своей судьбы оставался верен себе и сохранял душевный мир. Невозможно было знать Холгрейва и не заметить в нем этого свойства. Гепзиба понимала его. Фиби тоже, едва только увидела художника, почувствовала к нему доверие, которое всегда внушает такой характер. Правда, он поражал ее и иногда даже отталкивал, но это происходило не потому, что она сомневалась в его правилах и принципах, каковы бы они ни были, но оттого, что

они – как она чувствовала – отличались от ее правил. Ей было с ним как-то неловко: он как будто все вокруг нее приводил в беспорядок недостатком почтения к тому, что она считала непоколебимо верным и неизменным. Кроме того, девушка была не вполне уверена, что он способен на привязанность. Для этого он был слишком спокойным и холодным и всегда оставался наблюдателем. Разумеется, он принимал некоторое участие в Гепзибе, ее брате и в самой Фиби. Он изучал их со стороны, от него не ускользало ни малейшее обстоятельство. Он готов был сделать для них любое одолжение, но при этом, казалось, не привязывался к ним больше, по мере того как узнавал их. В своих отношениях с ними он, казалось, искал пищи уму, но не сердцу, и Фиби не могла постичь, что интересовало его так сильно в ее друзьях и в ней самой с точки зрения ума, если на самом деле он не чувствовал к ним вовсе – или чувствовал очень мало – сердечной привязанности.

Во время своих свиданий с Фиби художник всегда обстоятельно расспрашивал девушку о самочувствии Клиффорда.

– Он по-прежнему кажется счастливым? – спросил он однажды.

– Он счастлив, как ребенок, – ответила Фиби. – Но так же, как ребенок, часто бывает и встревожен.

– Чем же? – поинтересовался Холгрейв. – Внешними или внутренними причинами?

– Я же не могу читать его мысли! – воскликнула Фиби с простодушной колкостью. – Очень часто его настроение меняется без всякой видимой причины, как на солнце набегает вдруг облако. В последнее время, когда я узнала его лучше, мне как-то тяжело, как-то совестно лезть к нему в душу. Он пережил какое-то великое горе. Когда он весел – когда солнце освещает его ум, – я позволяю себе заглянуть туда до той глубины, до которой проникают солнечные лучи, но не дальше. Что покрыто в нем мраком, то для меня «земля свята».

– Как прекрасно вы выразили свое чувство! – сказал художник. – Я не умею так чувствовать, но понимаю вас. Будь я на вашем месте, я бы не постеснялся измерить глубину души Клиффорда.

– Странно, что вы так этого желаете! – заметила Фиби. – Кто для вас кузен Клиффорд?

— О, никто, конечно, никто! — ответил Холгрейв со смехом. — Только странен и непостижим этот мир! Чем больше я в него всматриваюсь, тем больше он меня озадачивает. Мужчины, женщины, дети — все мы такие странные создания! Невозможно быть уверенным, что знаешь человека, и угадать, кем он был, по тому, кем он кажется. Судья Пинчон, Клиффорд — что за головоломка! Чтобы разгадать ее, нужна такая созерцательная симпатия, какой одарена только молодая девушка. Я простой наблюдатель, я никогда не обладал созерцательностью, я только пронырлив и зорок, и потому совершенно уверен, что заблуждаюсь.

Вслед за этим художник сменил тему разговора. Фиби и он были оба молоды. Несмотря на все прошлые испытания, он не совсем утратил этот прекрасный дух юности, который делает мир таким же блестательным, каким он был в первый день творения. Холгрейв рассуждал о старости мира, но в самом деле чувствовал совсем иное: он смотрел на мир как на нежного юношу, который не перестает подавать надежду на дальнейшее развитие. В нем было это чувство, это внутреннее предвидение — без которого молодому человеку лучше вовсе не рождаться, а возмужалому лучше умереть, нежели потерять его, — чувство, что мы не осуждены вечно тащиться по старой, дурной дороге, что мы совершенствуемся, идем к лучшему. Холгрейву казалось, как, без сомнения,казалось, полному надежд юноше каждого столетия, что именно в его век человечество освобождается от своих немощей и начинает свою жизнь сначала.

В главном своем убеждении — что наступят для человечества лучшие времена, — художник, конечно, был прав. Ошибка его состояла в предположении, что его век способен сменить изношенную одежду древности на новый костюм разом, вместо того чтобы постепенно подновлять ее заплатками, а прежде всего в том, что Холгрейв воображал, будто без его участия не могло совершиться ничего ведущего к великим последствиям. Этот энтузиазм, прступающий сквозь его внешнее спокойствие, позволял ему оставаться юным и придавал величие его стремлениям, а когда, с опытом, мысли неизбежно изменятся, это совершится без сильного потрясения. Художник сохранит веру в высокое предназначение человека и, может быть, будет любить его тем сильнее, что убедится в его бессилии, а заносчивая самоуверенность, с которой он начал жизнь, перейдет в более смиренное убеждение, что человек лучшими своими усилиями строит какой-то сон и что один Бог творит действительность.

Холгрейв читал очень мало, и то только проездом по пути жизни. Он считал себя мыслителем и в самом деле имел способности мыслителя, но, будучи вынужден

сам прокладывать себе дорогу, он еще только достиг той отправной точки, с которой человек образованный начинает мыслить. Истинное достоинство его характера состояло в глубоком осознании внутренней силы, при котором все превратности судьбы казались лишь сменой костюмов; в этом энтузиазме, который сквозил во всем, за что он принимался; в честолюбии, скрытом в благородных побуждениях, но тем не менее способном превратить его из теоретика в деятеля в каком-нибудь практическом предприятии.

Трудно было бы предначертать, как сложится его карьера. В Холгрейве проявлялись такие качества, благодаря которым он при определенной доле везения легко мог бы получить один из призов мира. Но ожидать этого было бы неверно до смешного. Почти на каждом шагу мы встречаем молодых людей одних с ним лет и пророчим им в душе чудесное будущее, но потом, увы, не слышим о них ничего подобного.

Но пускай Холгрейв останется для нас таким, каким мы и нашли его в эти замечательные послеобеденные часы в беседке сада. Приятно смотреть на молодого человека, столь полного веры в себя, одаренного, судя по всему, удивительными способностями и совершенно не сломленного тем множеством испытаний, которым он подвергался, и особенно приятно наблюдать за его дружеской беседой с нашей Фиби. Едва ли она была права, считая его холодным человеком, если же и была, то теперь он сделался теплее. Совершенно непреднамеренно она сделала этот сад его любимым местом на свете. Считая себя человеком проницательным, художник думал, что он в состоянии видеть Фиби насквозь и читать ее, как детскую повесть. Но такие прозрачные с виду натуры часто оказываются глубже, чем кажется; этот булыжник на дне источника гораздо дальше от нас, нежели мы думаем. Поэтому Холгрейв, что бы он ни думал о способностях своей собеседницы, увлекался ее молчаливой прелестью и изливал перед ней свою душу так, как перед самим собой. Если бы вы посмотрели на него сквозь решетку садовой ограды, вы бы наверняка предположили, что он влюблен в молодую девушку.

Наконец, Фиби спросила художника, как он познакомился с ее кузиной Гепзибой и с чего ему вздумалось поселиться в печальном, старом доме Пинчонов. Не отвечая прямо на ее вопрос, он оставил будущее, которое до сих пор было темой его рассуждений, и заговорил о влиянии прошлого на настоящее.

– Неужели мы никогда не отделаемся от влияния прошлого? – воскликнул он воодушевленным тоном. – Оно лежит на настоящем, как труп какого-то великана!

– Я совсем этого не замечаю, – произнесла Фиби.

– Как не заметить? – сказал Холгрейв. – Мы во всем зависим от людей несуществующих. Мы читаем книги мертвых людей, мы смеемся над шутками мертвых людей и плачем от их пафоса; мы больны болезнями мертвых людей, физическими и нравственными. Что бы мы ни задумали сделать по собственному усмотрению, холодная рука мертвого человека вмешивается в наши замыслы. Посмотрите куда хотите, вы везде встретите бледное, неумолимое лицо мертвеца, от которого леднеет сердце. И сами мы станем мертвыми, прежде чем скажется наше влияние на мир, который будет уже не нашим миром, а миром другого поколения... Я должен сказать также, что мы живем в домах мертвых людей, как вот, например, в Доме с семьёй шпилями!

– А почему же нам не жить в нем, – спросила Фиби, – если нам здесь удобно?

– Какое удобно! – воскликнул Холгрейв. – Разве здорово жить в этой куче почерневших бревен, на которых от сырости проступил зеленый мох? В этих мрачных, низких комнатах? В этих грязных стенах, на которых как будто остался осадок дыхания людей, живших и умерших здесь в недовольстве судьбой и горе? Этот дом следует очистить...

– Зачем же вы живете в нем? – осведомилась Фиби немного ехидно.

– О, я занимаюсь здесь своей наукой, – ответил Холгрейв. – Не по книгам, впрочем. Дом этот в моих глазах является выражением прошлого, против которого я сейчас ораторствовал. Я живу в нем временно, чтобы лучше узнать его. Кстати, слышали ли вы когда-нибудь историю колдуна Моула? Знаете, что произошло между ним и вашим предком?

– Да, я слышала об этом, – кивнула Фиби. – Очень давно, от моего отца, а раза два и от кузины Гепзибы – за тот месяц, что я живу здесь. Она, кажется, думает, что все бедствия Пинчонов произошли от этой ссоры с колдуном, как вы его называете. Да и вы, мистер Холгрейв, тоже как будто так считаете. Странно, что вы верите в такую нелепость, а отвергаете многое, что гораздо достойнее доверия.

— Да, я верю этому, — ответил художник серьезно. — Впрочем, не из предрассудков, а на основании несомненных фактов. В самом деле, под этими семью шпилями, на которые мы теперь смотрим и которые старый полковник Пинчон выстроил для своих счастливых потомков, — под этой кровлей с самого начала не прекращались страдания, родственная вражда, странные смертные случаи, невыразимые несчастья, здесь царили угрызения совести, обманутые надежды, мрачные подозрения. И все эти бедствия произошли от одного безумного желания старого пуританина добиться благосостояния неправыми средствами.

— Вы говорите слишком бесцеремонно о моих предках, — сказала Фиби, сама не зная, обижаться ей или нет.

— Я говорю здравые мысли здравому уму! — возразил Холгрейв с жаром, которого Фиби не замечала в нем прежде. — Все именно так и есть, как я говорю! Виновник бедствий вашей родни будто бы до сих пор бродит по улицам — по крайней мере, бродит его точная копия — со своей жалкой мечтой. Вы не забыли о моем дагеротипе и его сходстве со старым портретом?

— Какой вы в самом деле странный! — воскликнула Фиби, глядя на Холгрейва с удивлением и смущением.

— Да, я порядком странен, это я и сам знаю, — подтвердил художник. — Но виной тому ваши предки. Их история запала мне в душу с тех самых пор, как я здесь поселился. Чтобы как-нибудь от нее освободиться, я обратил в легенду одно происшествие в жизни Пинчонов, о котором узнал случайно, и намерен напечатать его в журнале.

— А вы пишете для журналов? — спросила Фиби.

— Неужели вы до сих пор не знали? Вот какова литературная слава! Да, мисс Фиби Пинчон, в числе множества моих удивительных умений, я обладаю и талантом писать повести. Не хотите ли послушать меня?

— Охотно, если ваша легенда не очень длинна, — ответила Фиби и прибавила, смеясь: — И не очень скучна.

Так как художник не мог сам ответить на этот последний вопрос, он вынул из кармана свою рукопись и начал читать при последних лучах солнца, золотивших семь шпилей.

## Глава XIII. Элис Пинчон

«Однажды достопочтенный Джервис Пинчон прислал слугу к молодому плотнику Мэтью Моулу, чтобы тот немедленно явился в Дом с семью шпилями.

„Зачем я понадобился твоему господину? – спросил плотник у негра, слуги мистера Пинчона. – Разве в доме что-то сломалось? Такое может быть, только мой отец не виноват: он на славу построил дом. Я читал надпись на памятнике старого полковника не далее как в прошлую субботу и рассчитал, что дом стоит уже тридцать семь лет. Немудрено, если нужно починить где-нибудь кровлю...“  
– „Не знаю, чего хочет господин, – ответил негр Сципион. – Дом очень хороший, видно, так думал и старый полковник Пинчон, иначе к чему старику бродить да пугать бедного негра?“ – „Ну, ладно, приятель Сципион, скажи своему господину, что я иду, – сказал плотник, смеясь. – Ему не найти лучшего мастера. Так в доме нечисто, а? Но как выжить привидение из семи шпилей? Если даже полковник и присмиреет, – прибавил он сквозь зубы, – так мой старый дед, колдун, наверняка не оставит в покое Пинчонов, пока будут держаться стены их дома“.

„Что ты ворчишь там себе под нос, Мэтью Моул? – спросил Сципион. – И чего ты смотришь на меня так косо?“ – „Ничего. Ты думаешь, что на тебя никто не должен косо глядеть? Ступай, скажи своему господину, что я иду, а если встретишь мисс Элис, его дочь, так передай ей от Мэтью Моула низкий поклон. Она вывезла из Италии смазливое лицо – смазливое, нежное и гордое – эта Элис Пинчон“.

„Он говорит о мисс Элис! – думал Сципион, возвращаясь к своему господину. – Ему, видно, делать больше нечего, как только таращить на нее глаза!“

Нужно сказать, что этого молодого плотника Мэтью Моула мало кто понимал и любил в городе – не потому, впрочем, что о нем известно было что-нибудь предосудительное, и не потому, что он считался плохим и ленивым мастером. Отвращение (именно отвращение), с которым многие на него смотрели, было отчасти следствием его собственного характера и поведения, а отчасти передалось ему по наследству.

Он был внуком Мэтью Моула, одного из первых поселенцев города, прославившегося своим колдовством. Этот стариk был казнен вместе с другими, подобными ему, но у народа остался суеверный страх, и многие были уверены,

что эти мертвецы, наскоро брошенные в землю, способны подниматься из своих могил. В особенности толковали о старом Мэтью Моуле, который будто бы с такой же легкостью вставал из своей могилы, как обыкновенный человек с постели. Этот злой чародей, которого виселица, по-видимому, совсем не исправила, бродил ночами по дому, называемому Домом с семьёй шпилями, к хозяину которого он имел претензию. Дух, как видите, с упорством, которое было отличительной чертой живого Мэтью Моула, настаивал на том, что он – законный владелец места, где был построен дом. Он требовал, чтобы упомянутый поземельный доход с того самого дня, когда начали рыть погреб, был выплачен ему сполна, или же отдан сам дом; в противном случае он, мертвец, будет вмешиваться во все дела Пинчонов и причинять им вред даже по прошествии тысячи лет после его смерти. История, пожалуй, нелепая, но она не казалась невероятной тем, кто помнил, каким непоколебимым упрямцем был этот старик Мэтью Моул.

Внук колдуна, молодой Мэтью Моул, по общему мнению, унаследовал некоторые из подозрительных качеств своего предка. Странно сказать, сколько нелепых толков ходило в народе об этом молодом человеке. Говорили, например, что он может вторгаться в сны других людей. Одни утверждали, что глаза Моула обладают невероятной силой, благодаря которой он умеет проникать в умы людей; другие – что он может заставить любого думать по своему или, если ему угодно, послать человека к своему деду на тот свет; еще некоторые уверяли, что Моул одним взглядом способен уничтожить урожай хлебов и высушить ребенка, как египетскую мумию. Но больше всего молодому плотнику вредили во мнении общества врожденная осторожность и суровость характера, а также то, что он удалялся от церкви, навлекая на себя подозрения в еретических идеях.

После того как Сципион передал Моулу требование мистера Пинчона, плотник окончил небольшую работу, которую делал в то время, и отправился в Дом с семьёй шпилями. Это замечательное здание, несмотря на свою несколько устарелую архитектуру, было все еще одним из лучших городских домов. Тогдашний его владелец, Джервис Пинчон, однако же, не любил, как поговаривают, этот дом из-за тяжелого впечатления, произведенного на него в детстве внезапной смертью деда: тогда, подбежав к полковнику, чтобы взобраться к нему на колени, он заметил, что старый пуританин мертв. Повзрослев, мистер Пинчон посетил Англию, женился там на богатой леди и потом провел несколько лет отчасти на родине своей матери, а отчасти в разных городах Европейского материка. В этот период наследственный дом был

предоставлен в распоряжение одного родственника, который взял на себя обязанность сохранять его в первоначальном виде. Это обещание выполнялось им так хорошо, что теперь, приближаясь к дому, плотник не замечал в нем никаких признаков повреждения. Семь шпилей стремились вверх, гонтовая крыша была непроницаема для дождя, а блестящая штукатурка покрывала стены и сверкала в лучах октябрянского солнца так, как будто была положена всего неделю назад.

С первого взгляда было заметно, что дом населяет большое шумное семейство. Через ворота въехал на задний двор большой воз с дровами; дородный повар стоял у боковой двери и торговался с селянином о цене на несколько привезенных им в город индеек и кур. Время от времени горничная выглядывала из окна нижнего этажа. А в открытом окне второго этажа видна была склонившаяся над горшками прелестных чужеземных цветов молодая леди, тоже чужеземная и столь же прелестная. Ее присутствие сообщало невыразимое очарование всему зданию.

На переднем шпиле находились солнечные часы. Плотник, подойдя ближе, поднял голову и посмотрел на них. „Три часа! – сказал он сам себе. – Отец говорил, что эти часы были поставлены незадолго до смерти полковника. Как верно показывают они время тридцать семь лет!“

Простому ремесленнику, как Мэтью Моул, приличнее было бы явиться по зову джентльмена на задний двор, где обыкновенно принимали слуг и рабочих, или по крайней мере пройти через боковую дверь, куда пускали торговцев, но плотник был горд по натуре своей, а в эту минуту, сверх того, ощущал в сердце горькую обиду, потому что, по его мнению, огромный дом Пинчонов стоял на земле, которая должна была принадлежать ему. На этом самом месте, возле источника свежей, прекрасной воды, его дед повалил несколько сосен и срубил себе хижину, в которой родились его дети, и полковник Пинчон вырвал право на владение этой землей только из окостеневших рук. Итак, молодой Моул подошел прямо к главному входу и застучал так громко железным молотком, как будто сам старый колдун стоял у порога.

Сципион поспешил на стук и изумленно вытаращил глаза, увидев перед собой плотника.

– Боже, помилуй нас! Что за важная персона этот плотник! – проворчал про себя негр.

– Ну, вот и я! – сказал сухово Моул. – Где твой господин?

Когда он вошел в дом, из одной комнаты второго этажа неслась приятная меланхолическая музыка. То слышны были клавикорды, которые Элис Пинчон привезла с собой из-за моря. Прелестная Элис посвящала большую часть своего досуга цветам и музыке, хотя цветы, как всегда, быстро увядали, а ее мелодии часто бывали печальны. Она воспитывалась в иностранных государствах и не могла любить новоанглийского образа жизни.

Так как мистер Пинчон ждал Моула с нетерпением, то Сципион, не теряя времени, провел к нему плотника. Комната, в которой сидел этот джентльмен, была так называемой приемной, обращенной окнами в сад. Она была обставлена новомодной и дорогой мебелью, преимущественно вывезенной мистером Пинчоном из Парижа; пол был покрыт ковром (роскошь в то время необыкновенная), так искусно и богато вытканым, как будто он состоял из живых цветов. В одном углу стояла мраморная статуэтка обнаженной женщины. Несколько портретов, старых с виду, висело на стенах. Возле камина стоял большой прекрасный шкаф красного дерева, купленный мистером Пинчоном в Венеции. В этом шкафу он хранил медали, древние монеты и разные мелкие и дорогие редкости, собранные им во время путешествий. Однако же, несмотря на все эти разнообразные украшения, в глаза бросались первоначальные особенности комнаты – низкий потолок с перекладинами и старинная печка с голландскими изразцами. Это как бы символизировало ум, снабженный иноземными идеями и искусственно утонченный, но не ставший оттого ни шире, ни изящнее.

Два предмета казались не на своем месте в этой прекрасно убранной комнате. Один – большая карта, или план земель и лесов, начертенный, по-видимому, уже довольно давно, почерневший от дыма и засаленный кое-где пальцами. Другой – портрет сурогового старика в пуританском костюме, написанный грубо, но смелой кистью.

У маленького столика, перед горячими углами, сидел мистер Пинчон и пил кофе – привычка, которую он приобрел во Франции. Это был очень красивый мужчина средних лет, в парике с длинными локонами. Кафтан его был из синего бархата, с галунами по обшлагам и вокруг петель, а камзол сверкал золотым шитьем. Когда Сципион ввел плотника, мистер Пинчон немного повернулся, но потом продолжил медленно пить кофе, не обращая внимания на гостя, за которым посыпал. Он не намерен был оскорбить плотника – он покраснел бы от

такого поступка, – ему просто не приходило в голову, что человек в положении Моула мог ожидать от него учтивости. Плотник, однако же, подошел прямо к камину и встал перед мистером Пинчоном.

„Вы за мной посылали, – сказал он, – не угодно ли вам объяснить, что вам нужно, у меня не так много времени?“ – „А! Виноват, – спокойно проговорил мистер Пинчон. – Я не намерен был отнимать у тебя время без вознаграждения. Тебя зовут, я думаю, Моул – Томас или Мэтью Моул. Ты сын или внук мастера, который строил этот дом?“ – „Мэтью Моул, – ответил плотник. – Сын того, кто построил этот дом, – внук настоящего владельца земли“. – „Я знаю о тяжбе, на которую ты намекаешь, – заметил мистер Пинчон с невозмутимым равнодушием. – Я очень хорошо знаю, что мой дед был вынужден прибегнуть к помощи закона для того, чтобы удержать право на землю, на которой построено это здание. Не будем возобновлять столь давний спор. Дело это было решено в свое время – решено справедливо, разумеется, и во всяком случае необратимо. Но, хотя это довольно странно, есть тут одно обстоятельство, о котором я и хочу с тобой поговорить. Твоя досада, Моул, – правомерна она или нет – может иметь влияние на мои дела. Ты, я думаю, слышал, что род Пинчонов до сих пор пытается доказать свое, еще непризнанное, право на обширные земли на востоке?“ – „Часто слышал, – ответил Моул, и при этом, говорят, на его лице мелькнула улыбка. – Часто слышал от отца“. – „Это право, – продолжал мистер Пинчон, помолчав с минуту, как будто размышляя, что могла означать улыбка плотника, – это право было уже почти признано перед смертью моего дедушки. Люди, знакомые с ним близко, знали, что полковник Пинчон был человеком практичным и не обольщал себя безосновательными надеждами; он не стал бы браться за осуществление плана, который невозможно было бы исполнить. Поэтому надо полагать, что у него были основания, не известные его наследникам, добиваться с такой уверенностью успеха в своем притязании на восточные земли. Словом, я уверен – и мои советники-юристы соглашаются с моим мнением, подтверждаемым в некоторой степени и нашими фамильными преданиями, – я уверен, что мой дед владел каким-то актом, необходимым для решения дела, но этот акт исчез“. – „Весьма вероятно, – сказал Мэтью Моул, и опять, говорят, на лице его мелькнула мрачная улыбка. – Но что общего имеет простой плотник с великими делами дома Пинчонов?“ – „Может быть, и ничего, – ответил мистер Пинчон. – А может быть, и много общего!“

Тут они долго толковали между собой о предмете, интересовавшем владельца Дома с семью шпилями. Народное предание уверяет (хотя мистер Пинчон с

некоторым затруднением говорил об этих, по-видимому, столь нелепых рассказах), что будто бы между родом Моула и этими обширными, недоступными еще для Пинчонов восточными землями существовала какая-то взаимосвязь. Говорили, что старый колдун, несмотря на то, что был повешен, в борьбе своей с полковником Пинчоном взял над ним верх, потому как взамен одного или двух акров земли захватил в свои руки право на восточные земли. Одна очень старая женщина, умершая недавно, часто во время вечерних посиделок употребляла метафорическое выражение, что, дескать, обширные территории земель Пинчонов похоронены в могиле Моула, хотя эта могила занимала всего лишь маленький уголок между двух скал, у вершины Висельного холма. Кроме того, когда юристы разыскивали потерянный документ, в народе начали толковать, что этот документ найдут только в руке погребенного колдуна. Этой нелепости проницательные юристы придали такую важность (впрочем, мистер Пинчон не сообщил об этом плотнику), что решились раскопать потихоньку могилу старого Моула, но ничего не было обнаружено, увидели только, что правой руки у скелета вовсе нет.

Однако же в народе ходили толки – впрочем, сомнительные и неопределенные – об участии в пропаже документа сына колдуна Моула, отца молодого плотника. Сам мистер Пинчон мог подтвердить их отчасти. Он был в то время еще ребенком, однако помнил, или ему казалось, что он помнит, как отец Мэтью Моула, в день смерти полковника, что-то чинил в той самой комнате, где он теперь разговаривал с плотником. Пинчон даже ясно припоминал, что некоторые бумаги, принадлежавшие полковнику, были разбросаны в то время по столу.

Мэтью Моул понял высказанное мистером Пинчоном подозрение. „Отец мой, – сказал он, но все с той же загадочной мрачной улыбкой на лице, – был человеком честным! Он не унес бы ни одной из этих бумаг, если бы и мог этим вернуть себе потерянные права!“ – „Я не стану с тобой спорить, – заметил воспитанный за границей мистер Пинчон с надменным спокойствием. – Но джентльмен, желая иметь дело с человеком твоего звания и образованности, должен наперед понимать, стоит ли цель средств. В настоящем случае она того стоит“.

С этими словами он стал предлагать плотнику значительные суммы денег, если тот соблаговолит дать ему какие-нибудь объяснения, которые помогут отыскать документ о восточных землях. Мэтью Моул долго, говорят, слушал равнодушно эти предложения, но наконец как-то странно засмеялся и спросил, согласится ли мистер Пинчон отдать ему за этот столь важный документ землю,

принадлежавшую старому колдуна, вместе со стоявшим на ней теперь Домом с семьёй шпилями.

Здесь предание, которого я придерживаюсь в своем рассказе, говорит о весьма странном поведении портрета полковника Пинчона. Портрет этот, по общему мнению, был так тесно связан с судьбой дома и таким магическим образом прикреплен к стене, что если бы его сняли, то в ту же самую минуту все здание рухнуло бы и превратилось в кучу пыльных развалин. В течение всего предшествовавшего разговора между мистером Пинчоном и плотником портрет хмурился, сжимал кулаки и подавал другие подобные знаки чрезвычайного раздражения, не обращая на себя внимания ни одного из собеседников. Наконец, при дерзком предложении Мэтью Моула уступить ему Дом с семьёй шпилями, он якобы потерял всякое терпение и выразил явную готовность выскочить из рамы.

„Отдать дом! – воскликнул мистер Пинчон, в изумлении от такого предложения. – Если бы я это сделал, то мой дед не лежал бы спокойно в своем гробу!“ – „Да он и без того не лежит, если правду толкуют в народе, – спокойно заметил плотник. – Но это дело касается больше его внука, чем Мэтью Моула. Других условий у меня нет“.

Хотя мистер Пинчон находил сперва невозможным согласиться на предложение Моула, однако, подумав с минуту, согласился с тем, что его стоит по крайней мере рассмотреть. Сам он не питал особенной привязанности к дому, и проведенное здесь детство не было для него сопряжено с приятными воспоминаниями. Напротив, по истечении тридцати семи лет присутствие его покойного деда все еще как будто омрачало стены дома, как в то утро, когда он, будучи мальчиком, с ужасом увидел мертвого старика, сидевшего в кресле с нахмуренным лицом. Сверх того, долгое пребывание мистера Пинчона в иностранных государствах, знакомство со многими наследственными замками и палатами в Англии и с мраморными итальянскими дворцами заставили его с пренебрежением относиться к Дому с семьёй шпилями. Этот дом совершенно не соответствовал образу жизни, какой должен был вести мистер Пинчон, особенно после того, как он получит права на новые земли. Его управитель еще мог снизойти до того, чтобы здесь поселиться, но ни в коем случае не сам владелец огромного имения. Он намерен был в случае успеха вернуться в Англию; по правде сказать, он вообще не решился бы жить в Доме с семьёй шпилями, если бы его собственное состояние и состояние его покойной жены не начали истощаться. Удайся тяжба о восточных землях, доведенная некогда почти до окончательной победы, тогда владения мистера Пинчона сравнялись бы с

каким-нибудь графством и дали бы ему право ходатайствовать об этом титуле. Лорд Пинчон! Или граф Вальдо!

Словом, когда мистер Пинчон обдумал это дело, условия плотника показались ему такими скромными, что он едва мог удержаться от смеха. Ему стало даже стыдно при мысли о столь умеренной награде за огромную услугу, которую ему брались оказать. „Хорошо, я согласен на твое предложение, Моул, – сказал он. – Достань мне документ, который поможет мне выиграть тяжбу, и Дом с семью шпилями – твой!“

Согласно преданию, юристом был составлен формальный контракт между мистером Пинчоном и внуком колдуна, который они подписали в присутствии свидетелей. Другие говорят, что Мэтью Моул удовольствовался частным письменным обязательством, в котором мистер Пинчон ручался своей честью исполнить заключенную между ними договоренность. После этого хозяин дома велел подать вина и выпил по рюмке со своим гостем в подтверждение сделки.

Во время всего их разговора портрет старого пуританина продолжал обнаруживать признаки неудовольствия, но собеседники этого не замечали; только когда мистер Пинчонставил на стол пустую рюмку, ему показалось, что его нарисованный дед нахмурился.

„Этот херес для меня слишком крепок, он всегда действует на мою голову, – сказал Пинчон, посмотрев с некоторым удивлением на картину. – Когда вернусь в Европу, ограничусь самыми нежными итальянскими и французскими винами, лучшие из них не терпят перевозки“. – „Да, тогда вы сможете пить какое угодно вино и где вам вздумается, – ответил плотник, как будто он был советником в честолюбивых планах мистера Пинчона. – Но, во-первых, сэр, если вы желаете получить известия об этом потерянном документе, то я должен просить у вас позволения поговорить немножко с вашей прелестной дочерью Элис“. – „Ты с ума сошел, Моул! – вскрикнул мистер Пинчон надменно, и теперь уже гнев примешивался к его гордости. – Что общего может иметь моя дочь с таким делом?“

Действительно, эта новая просьба плотника поразила владельца семи шпилей даже сильнее, нежели спокойное предложение уступить ему дом. Несмотря на это, Мэтью Моул упорно настаивал, чтобы к нему привели молодую леди, и даже дал понять ее отцу таинственным намеком, что получить верные сведения о документе можно только посредством такого чистого ума, каким обладала

прелестная Элис. Не станем распространяться о всевозможных переживаниях и сомнениях мистера Пинчона. Скажем только, что он наконец велел просить к себе дочь. Он знал, что она находится в своей комнате и занята делом, которое не могло быть тотчас отложено в сторону, потому что в ту самую минуту, когда было произнесено имя Элис, отец ее и плотник услышали печальную и сладостную музыку клавикордов и нежный голос девушки. Но Элис Пинчон явилась к нему немедленно.

Говорят, что великолепный портрет этой молодой леди, написанный одним венецианским художником и оставленный ее отцом в Англии, достался нынешнему герцогу Девонширскому и теперь хранится в Честворте. Если когда-либо и была рождена леди, выделявшаяся из толпы обыкновенных людей какой-то холодной величавостью, так это Элис Пинчон. Но в ней было столь же много женственности и нежности. Благодаря этим достоинствам человек великодушный простили бы девушке всю ее гордость; мало того, он, вероятно, лег бы на ее пути и позволил бы легкой ножке Элис наступить на его сердце, а за это самопожертвование он пожелал бы от нее, быть может, только простого признания, что он создан из тех же самых стихий, как и она.

Когда Элис вошла в комнату, ее взгляд упал прежде всего на плотника, который стоял посреди комнаты. На лице девушки отразилось удивление при виде той силы и энергии, которыми отличалась наружность Моула. Но плотник не смог простить ей этого изумленного взгляда, хотя много нашлось бы людей, которые всю жизнь хранили бы о нем сладкое воспоминание. Видно сам нечистый спутал мысли Мэтью Моула.

„Что она смотрит на меня, как будто я какое-нибудь дикое растение? – подумал он, стиснув зубы. – О, она узнает, что у меня есть душа, и горе ей, если моя душа окажется сильнее ее собственной!“

„Отец, вы присылали за мной, – сказала Элис голосом сладким, как звуки клавикордов. – Но если вы чем-нибудь заняты с этим молодым человеком, то позвольте мне удалиться. Вы знаете, что я не люблю эту комнату“. – „Подождите, пожалуйста, минутку, молодая леди, – обратился к ней Мэтью Моул. – Я окончил дело с вашим отцом, теперь я должен поговорить с вами“. Элис посмотрела на своего отца с вопросительным удивлением.

„Да, Элис, – начал мистер Пинчон не без некоторого смущения. – Этот молодой человек – его зовут Мэтью Моулом – говорит, насколько я его понимаю, что он

может с твоей помощью найти известную бумагу, которая была потеряна задолго до твоего рождения. Важность этого документа заставляет меня не пренебрегать никаким возможным – кроме невероятных – средством отыскать его. Поэтому ты меня обяжешь, милая моя Элис, если согласишься ответить на все вопросы этого человека. Так как я остаюсь с тобой в комнате, то ты не подвергнешься никакой грубости с его стороны, и по твоему желанию следствие – или как бы мы ни назвали этот разговор – будет тотчас же прекращено“.

„Мисс Элис Пинчон, – заметил Мэтью Моул с величайшим почтением, но с полускрытым сарказмом во взгляде и в голосе, – без сомнения, будет чувствовать себя вне опасности в присутствии своего отца и под его покровительством“. – „Разумеется, мне нечего опасаться, когда я подле моего отца, – произнесла Элис с достоинством. – Я вообще не понимаю, как может леди, верная самой себе, чувствовать страх в каких бы то ни было обстоятельствах“.

Бедная Элис! Какое несчастное побуждение заставило тебя бросить этот вызов силе, которую ты не в состоянии была постигнуть?

„В таком случае, – сказал Мэтью Моул, подавая ей кресло, причем довольно грациозно для ремесленника, – сделайте одолжение, сядьте и смотрите мне прямо в глаза“.

Элис на это согласилась. Она была очень горда. Не говоря уже обо всех преимуществах ее звания, прелестная девушка сознавала в себе силу (состоявшую в красоте и непорочности), которая должна была сделать ее непроницаемой, если только она не изменит самой себе. Она, может быть, знала инстинктивно, что нечто злое стремится подобраться к ее душе, и не уклонялась от борьбы с ним.

Между тем ее отец отвернулся и, казалось, был погружен в созерцание пейзажа Клод-Лоррена. Но на самом деле картина занимала его так же мало в эту минуту, как и почерневшая стена, на которой она висела. Ум его был наполнен множеством странных рассказов, которые он слышал в детстве и которые приписывали этим Моулам таинственные дарования. Долгое пребывание мистера Пинчона в чужих краях и общение с умными и модными светскими людьми отчасти изгладили из его памяти грубые пуританские суеверия, от которых не мог быть свободен ни один человек, рожденный в Новой Англии в тот ранний период ее существования. Но, с другой стороны, разве не все пуританское общество считало, что дед Моула был колдуном? Разве не была

доказана его виновность? Разве колдун не был казнен за нее? Разве он не завещал ненависти к Пинчонам своему единственному внуку?

Повернувшись вполоборота, мистер Пинчон увидел фигуру Моула в зеркале. Плотник, стоя в нескольких шагах от Эллис и подняв руки, делал такой жест, как будто направлял на девушку какую-то огромную и невидимую тяжесть.

„Остановись, Моул! – воскликнул мистер Пинчон, подойдя к нему. – Я запрещаю тебе продолжать!“ – „Пожалуйста, отец, не мешайте молодому человеку, – сказала Элис, не меняя своего положения. – Его действия, уверяю вас, совершенно безвредны“.

Мистер Пинчон опять обратил глаза к Клод-Лоррену. Его дочь сама изъявляла желание подвергнуться таинственному опыту, поэтому он не стал ее неволить. И не ради нее ли в первую очередь он желает успеха в своем предприятии? Если только отыщется потерянный документ, то прелестная Элис Пинчон с прекрасным приданым, которое он ей назначит, может выйти за английского герцога или за германского владетельного князя, а не за какого-нибудь новоанглийского юриста. Эта мысль заставила честолюбивого отца согласиться в душе, что если даже волшебная сила необходима для исполнения этого дела, то пускай себе Моул вызывает ее. Чистота Элис будет ее защитой.

В то время, когда ум его был полон подобных размышлений, он услышал сдавленное восклицание дочери. Оноказалось таким слабым и неясным, что понять его было невозможно. И все же это был зов на помощь! Мистер Пинчон в этом не сомневался, но при всем том на сей раз отец не обернулся к дочери. После некоторой паузы Моул первым нарушил молчание.

„Посмотрите на свою дочь!“ – сказал он.

Мистер Пинчон бросился к ним. Плотник стоял выпрямившись напротив кресла Элис и указывал пальцем на девушку. Элис сидела с закрытыми глазами, будто спала.

„Говорите с ней!“ – сказал плотник. „Элис! Дочь моя! – воскликнул мистер Пинчон. – О, моя Элис!“ Она не двигалась.

„Громче!“ – сказал Моул с усмешкой. „Элис! Проснись! – вскрикнул отец. – Мне страшно видеть тебя в таком состоянии. Проснись!“ Он говорил громко, с ужасом в голосе, говорил над этим нежным ухом, которое всегда было так

чувствительно ко всякой дисгармонии. Но она не слышала его крика. Невозможно описать, как сжалось сердце мистера Пинчона, когда он понял это.

„Прикоснитесь лучше к ней! – сказал Моул. – Потрясите ее, да хорошенько. Мои руки слишком огрубели от обращения с топором, пилой и рубанком, иначе я помог бы вам“.

Мистер Пинчон взял девушку за руку и крепко сжал ее. Он поцеловал ее, с таким сердечным жаром, что ему казалось невозможным, чтобы она не почувствовала этого поцелуя. Потом, будто досадуя на ее бесчувственность, он потряс ее тело с такой силой, что через минуту боялся вспомнить об этом. Он отнял руки, и Элис, тело которой при всей своей гибкости было бесчувственно, приняла опять то же положение, какое сохраняла до попыток отца разбудить ее. В это время Моул отошел немного в сторону, и лицо девушки повернулось к нему – слегка, правда, но так, как будто сон ее зависел от его власти.

Ужасно было видеть, как мистер Пинчон, столь приличный, осторожный и величавый джентльмен, забыл свое достоинство, как его расшитый золотом камзол сверкал в блеске огня от раздражения, ужаса и горя, терзавших прикрытое им сердце.

„Негодяй! – закричал мистер Пинчон, грозя Моулу кулаком. – Ты вместе с дьяволом отнял у меня мою дочь! Отдай мне ее, отродье колдуна, или тебя потащат на Висельный холм, как и твоего деда!“ – „Потише, мистер Пинчон, – сказал плотник спокойно. – Потише. Разве я виноват, что вы согласились позвать сюда дочь за одну только надежду добить лист пожелтевшего пергамента? Позвольте же мне теперь испытать, так ли она будет покорна мне, как вам“.

Он обратился к Элис, и девушка ответила ему тихим, кротким голосом, склонив к нему голову, как пламя факела, указывающее направление ветра. Он поманил ее рукой, и Элис, встав с кресла, без всякой нерешимости, как бы стремясь к неизбежному центру тяготения, подошла к нему. Он отмахнулся от нее, и Элис, отступив, упала в свое кресло.

„Дело сделано, – сказал Мэтью Моул. – Узнать мы ничего не можем“.

Но в предании говорится, что во время своего сна Элис якобы описала три образа, которые представились ее взору. Первым был пожилой джентльмен с достоинством в осанке и с суровым лицом, одетый, будто по какому-то торжественному случаю, в костюм из темной, дорогой материи, но с большим

кровавым пятном на богато вышитом воротнике. Другим был тоже пожилой человек, одетый просто, с мрачной и злобной физиономией и с порванной веревкой на шее. Третьим – человек моложе первых двух, но старше средних лет; он был в толстой шерстяной тунике и кожаных штанах, а из бокового кармана у него торчал плотницкий топор. Эти три призрака знали, где находится потерянный документ. У одного из них – с кровавым пятном на воротнике, – если только не обманывали его движения, казалось, и хранился этот самый документ, но два его таинственных товарища не давали ему освободиться от своей обязанности. А когда он обнаруживал намерение объявить тайну так громко, чтобы его услышали смертные, его товарищи бросались к нему и закрывали ему руками рот, и тогда у него на воротнике выступало свежее кровавое пятно. После этого две просто одетые фигуры смеялись и подшучивали над пристыженным старым джентльменом, указывая на пятно пальцами.

Тут Моул обратился к мистеру Пинчону: „Бумага никогда не будет найдена. Хранение этой тайны, которая, будучи открыта, обогатила бы потомство вашего деда, составляет часть его наказания за гробом. Он должен хранить ее до тех пор, пока она не потеряет всякую цену, поэтому Дом с семью шпилями останется вашим. Это наследство куплено слишком дорогой ценой“.

Мистер Пинчон пытался что-то сказать, но от страха и потрясения чувств в горле его послышалось только какое-то бульканье. Плотник засмеялся.

„Ага, почтенный господин! Это вы пьете кровь старого Моула!“ – сказал он насмешливо. „Колдун! Что ты сделал с моей дочерью? – закричал Пинчон, когда к нему вернулся дар речи. – Отдай мне ее назад и ступай своей дорогой, и чтобы мы никогда больше не встречались!“ – „Вашей дочерью? – повторил Мэтью Моул. – Она теперь и моя также. Несмотря на это, чтобы не быть слишком грубым с прелестной мисс Элис, я оставлю ее вам, впрочем, не буду уверять вас, что она больше не вспомнит о плотнике Моуле“.

Элис Пинчон очнулась от своего странного обморока. Она не сохранила ни малейшего воспоминания о своих видениях и вернулась к жизни почти в такое же короткое время, в какое вдруг вспыхивает в камине потухающее пламя. Узнав Мэтью Моула, она приняла вид несколько холодный, но исполненный кроткого достоинства, тем более что на лице плотника мелькала какая-то особенная улыбка, которая подавляла природную гордость Элис. Так окончились на этот раз поиски документа на восточные земли, и, хотя они часто возобновлялись

впоследствии, ни одному Пинчону еще не удалось взглянуть на драгоценную бумагу.

А между тем прелестная Элис от них пострадала. Ее коснулась необыкновенная, неведомая ей сила. Отец пожертвовал своей бедной дочерью из желания владеть восточными землями. Элис до конца своей жизни была покорна воле Моула. Она чувствовала себя как нельзя более униженной.

В один вечер, во время свадебного пиршества (но не ее, потому что, потеряв над собой власть, она считала бы грехом выйти замуж), бедная Элис была вынуждена идти по улице в своем белом кисейном платье и атласных башмачках к убогому жилищу ремесленника. В доме слышался смех и веселый говор, потому что в ту ночь Мэтью Моул женился на дочери другого ремесленника и призвал гордую Элис Пинчон в подружки к своей невесте. Она повиновалась ему и, когда кончилось испытание, очнулась от своего заколдованных сна. Но она не была уже гордой леди: смиренно, с улыбкой, в которой выражалась горесть, она поцеловала жену Моула и отправилась домой. Ночь была ненастная, юго-восточный ветер бил ей прямо в грудь; атласные башмачки ее совсем промокли, когда она бежала по лужам. На другой день она заболела, скоро начался постоянный кашель; она вдруг исхудала, и ее чахоточная фигурка, сидя за клавикордами, наполняла, бывало, дом печальной музыкой.

Пинчоны похоронили Элис великолепно. На похоронах была вся городская знать. Последним в процессии шел Мэтью Моул. Это был самый мрачный человек из всех, кто когда-либо провожал гроб».

#### Глава XIV. Прощание Фиби

Холгрейв увлекся своим чтением с жаром, свойственным молодому автору. Дочитав до конца, он заметил, что какое-то усыпление овладело чувствами его слушательницы.

— Вы меня огорчаете, милая мисс Фиби! — воскликнул он с саркастическим смехом. — Моя бедная история — это очевидно — никогда не будет принята литераторами! Уснуть над тем, что, по моему мнению, газетные критики должны были провозгласить блестательным, изящным, патетическим и оригинальным! Нечего делать, пускай моей рукописью разжигают лампы.

Пропитанные моей тупостью, эти страницы не будут так быстро гореть, как обыкновенная бумага.

— Я уснула! Как вы можете говорить такое? — возмутилась Фиби. — Нет-нет! Я была очень внимательна, и хотя не могу припомнить ясно всех обстоятельств, но в моем уме сложилась картина великих бедствий и страданий, а потому ваша повесть непременно должна показаться всем занимательной.

Между тем солнце зашло, окрасив облака теплыми красками, и засиял месяц, теряющийся до сих пор в небесной лазури. Его серебристые лучи смягчили облик старого дома, а сад с каждым мгновением делался все живописнее. Плодовые деревья, кустарники и цветы покрывала темнота, наполняя пейзаж романтическим очарованием. Сто таинственных лет шептались среди листвьев всякий раз, когда их шевелил легкий морской ветерок. Лунный свет пробивался сквозь лиственный покров беседки и падал серебристо-белыми пятнами на ее пол, на стол и на окружающие его скамейки.

Воздух был полон приятной прохлады после жаркого дня. Капли этой свежести орошили человеческое сердце и возвращали ему молодость и симпатию к вечной красоте природы. Одним из таких сердец было сердце нашего художника. Живительное влияние лунного вечера дало ему почувствовать, как он еще молод, о чем он часто забывал.

— Мне кажется, — сказал он, — что я никогда еще не видел такого прекрасного вечера и никогда еще не чувствовал ничего столь похожего на счастье, как в эту минуту. Что ни говори, а в каком добром живем мы мире! В каком добром и прекрасном! Как он еще молод! Этот старый дом, например, иногда подавлял мою душу запахом гниющих бревен, а в этом саду чернозем всегда так лип к моему заступу, как будто я землекоп, роющий могилу на кладбище. Но если бы я сохранил навсегда то чувство, которое теперь овладело мной, то сад каждый день представлялся бы мне девственной почвой, и запах бобов и тыкв говорил бы мне о свежести земли. А дом!.. Он казался бы мне беседкой в Эдеме, где цветут первые розы, созданными Богом. Лунный свет и этот отклик на него в душе человека — величайшие преобразователи.

— Я прежде была счастливее, чем теперь, по крайней мере, гораздо веселее, — задумчиво произнесла Фиби. — Но и я чувствую прелест этого тихого сияния. Я люблю наблюдать, как неохотно удаляется на покой усталый день и как ему досадно, что он должен подняться завтра так рано. Я прежде никогда не

обращала большого внимания на лунный свет и удивляюсь, что в нем сегодня такого привлекательного!

— И вы никогда прежде не чувствовали этого? — спросил художник, пристально глядя на девушку в сумерках.

— Никогда, — ответила Фиби. — И сама жизнь кажется мне теперь иной. Будто до сих пор я на все смотрела при дневном свете, или, скорее, при ярком свете веселого очага, танцевавшем по комнате. Бедняжка! — прибавила она с печальной усмешкой. — Я никогда уже не буду так весела, как в то время, когда я не знала еще кузину Гепзибу и бедного кузена Клиффорда. За это короткое время я сильно постарела. Постарела и, я думаю, помудрела. Я отдала им свой солнечный свет и очень рада, что отдала его, но все же я не могу и отдать, и сохранить его одновременно. Несмотря на это, я не жалею, что сблизилась с ними.

— Вы, Фиби, не потеряли ничего, что стоит хранить или что возможно сохранить, — сказал Холгрейв после некоторой паузы. — Первой нашей молодости мы не сознаем до тех пор, пока она не пройдет. Но зачастую мы обретаем чувство второй молодости — оно рвется из сердца в пору любви или, может быть, приходит к нам для того, чтобы украсить какой-нибудь другой великий праздник жизни. Это сожаление о беспечной, неопределенной веселости минувшей юности и это глубокое счастье от осознания юности приобретенной, которая несравненно лучше той, что мы лишились, необходимы для развития человеческой души. В некоторых случаях оба эти состояния наступают почти одновременно, и тогда грусть и восторг смешиваются в одно таинственное волнение.

— Я едва ли понимаю вас, — сказала Фиби.

— Немудрено, — ответил Холгрейв, смеясь, — это потому, что я высказал вам тайну, которую сам только осознал. Сохраните ее в памяти, однако, и, когда мои слова станут вам ясны, вспомните об этой лунной картине.

— Уже все небо озарено лунным светом, — пробормотала Фиби. — Я должна возвратиться в дом. Кузина Гепзиба не слишком сильна в арифметике, и мне надо помочь ей свести счеты.

Но Холгрейв удержал ее еще ненадолго.

— Мисс Гепзиба сказала мне, что через несколько дней вы вернетесь в деревню.

— Да, но только на короткое время, — ответила Фиби. — Потому что я этот дом считаю теперь своим. Я еду устроить кое-какие дела и проститься не так поспешно, как в первый раз, с матерью и друзьями. Приятно жить там, где мы нужны, а я думаю, что здесь я и желанная, и полезная гостья.

— Вы совершенно можете быть в этом уверены, вы и сами не понимаете, до какой степени вы здесь необходимы, — подтвердил художник. — Благословение Божие нисходит на этот дом вместе с вами и оставит его, как только вы переступите через его порог. Мисс Гепзиба совершенно отдалилась от общества и как бы умерла заживо, хоть она и стоит за contadorкой, хмурясь на весь свет. Ваш бедный кузен Клиффорд — тоже усопший и давно погребенный человек. Я нисколько не удивился бы, если бы он в одно прекрасное утро после вашего отъезда рухнул на землю и превратился в кучу праха. Они оба существуют благодаря вам.

— Мне было бы очень грустно так думать, — ответила Фиби. — Но это правда, что мне удается дать им то, в чем они нуждаются; яитаю к ним какое-то странное материнское чувство, над которым, надеюсь, вы не будете смеяться. Позвольте мне говорить с вами откровенно, мистер Холгрейв: мне иногда очень хочется знать, желаете ли вы им добра или зла.

— Без сомнения, я принимаю участие в этой старой, подавленной бедностью леди и в этом униженном, сокрушенном страданиями джентльмене — этом, так сказать, неудавшемся любителе прекрасного; я нежно интересуюсь этими старыми, беспомощными детьми. Но вы и понятия не имеете, как мое сердце не похоже на ваше. В отношении к этим людям я не чувствую побуждения ни помогать им, ни препятствовать; мне хочется только смотреть на них, анализировать их поступки и постигать драму, которая почти в течение двухсот лет совершилась в этом месте. Глядя на них, я получаю нравственное наслаждение, чтобы с ними ни произошло. Во мне живет убеждение, что конец драмы близок. Но, хотя Пророчество посыпает вас сюда для помощи, а меня только в качестве случайного наблюдателя, я, однако же, готов оказать этим несчастным существам любую посильную помощь.

— Я желала бы, чтобы вы изъяснялись проще, — произнесла Фиби смущенно и недовольно. — И еще сильнее желала бы, чтобы ваши чувства были более человеческими. Как можно видеть людей в несчастье и не желать успокоить и утешить их? Вы говорите так, как будто этот старый дом — театр, и, по-видимому, смотрите на бедствия Гепзибы и Клиффорда и на бедствия предшествовавших им поколений как на трагедию, которую у нас в деревне

разыгрывали в трактирной зале, только здешняя трагедия в ваших глазах играется как будто исключительно ради забавы. Это мне не нравится. Представление стоит актерам слишком дорого, а зрители слишком несимпатичны.

– Вы чересчур строги ко мне, – сказал Холгрейв, но вынужден был согласиться с тем, что в этом набросанном девушки эскизе много истины.

– И потом, – продолжала Фиби, – что вы хотите сказать этими словами – «конец драмы близок»? Разве какое-нибудь новое горе угрожает моим бедным родственникам? Если вам это известно, то сообщите мне, и я не оставлю их.

– Простите меня, Фиби! – сказал художник, протягивая ей руку, на что она вынуждена была ответить тем же. – Я немножко загадочен, признаюсь. В моей натуре есть черты, которые в старые добрые времена привели бы меня на Висельный холм. Поверьте мне, что если бы я знал тайну, полезную для ваших друзей – которые и для меня тоже друзья, – то открыл бы вам ее до вашего отъезда. Но я ничего подобного не знаю.

– У вас, однако ж, есть какая-то тайна! – сказала Фиби.

– Никакой, кроме моей собственной, – ответил Холгрейв. – Правда, я вижу, что судья Пинчон постоянно следит за Клиффордом, несчастью которого он во многом способствовал, но его намерения остаются для меня загадкой. Он решительный и неумолимый человек, настоящий инквизитор, и если бы только находил какую-нибудь выгоду в том, чтобы причинить Клиффорду вред, то без колебаний разобрал бы его по суставам. Но судья Пинчон – богач, сильный и влиятельный человек; на что ему надеяться или чего бояться со стороны полуумного, полумертвого Клиффорда?

– Вы, однако же, говорили так, будто ему угрожает какое-то новое бедствие, – настаивала на своем Фиби.

– Это потому, что я болен, – сказал художник. – В моем уме есть своя язвинка, как и во всяком, кроме вашего. Сверх того, мне кажется столь странным, что я живу в этом старом доме и тружусь в этом старом саду! Почему-то я не могу удержаться от мысли, что судьба определила пятый акт для здешней драмы.

– Вот опять! – вскрикнула Фиби с негодованием, потому что она по природе своей была враждебна таинственности, как солнечный свет темноте. – Вы смущаете меня больше чем когда-либо.

— Так расстанемся же друзьями, — сказал Холгрейв, пожимая ей руку. — Или если не друзьями, то разойдемся прежде, чем вы окончательно меня возненавидите, — вы, которая любит всех остальных людей!

— Прощайте же, — произнесла Фиби. — Не думаю, что буду сердиться на вас долго, и мне было бы очень жаль, если бы вы так считали. Кузина Гепзиба уже с четверть часа стоит в двери и ждет меня. Спокойной ночи и прощайте!

На другое утро Фиби, в своей соломенной шляпке, с шалью на одной руке и с небольшим дорожным мешком в другой, прощалась с Гепзибой и Клиффордом. Она готова была отправиться на железную дорогу и занять место в поезде, который увезет ее миль за двенадцать, в ее родную деревню. Глаза Фиби были полны слез, а на устах играла прощальная улыбка. Она удивлялась, как вышло, что, прожив несколько недель в этом старом доме, она так привязалась к нему? Как удалось Гепзибе, угрюмой, молчаливой и неспособной ответить на ее чувства, внушить ей столько любви к себе? Каким образом Клиффорд, в своем нравственном разрушении, с тайной лежавшего на нем преступления, — как он преобразился для нее в простодушного ребенка, за которым она считала себя обязанной присматривать, о котором она должна была заботиться в минуты его бессознательного состояния? Куда бы она ни взглянула, к чему бы ни прикоснулась рукой, каждый предмет отвечал ее душе, как будто в нем билось живое сердце.

Девушка посмотрела из окна в сад и почувствовала скорее сожаление, что оставляет этот кусок чернозема, покрытый древними растениями, нежели радость, что опять увидит свои сосновые леса и зеленеющие луга. Она позвала Горлозвона, обеих его куриц и цыпленка и бросила им горсть крошек, оставшихся на столе после завтрака. Куры поспешили склевали их, а цыпленок распустил свои крылья, взлетел к Фиби на окно и, глядя ей в глаза, выразил свои чувства чириканьем. Фиби попросила его быть в ее отсутствие добрым цыпленком и обещала привезти ему небольшой мешочек гречихи.

— Ах, Фиби! — сказала Гепзиба. — Ты уже не весела так, как в то время, когда только приехала ко мне! Тогда смех словно сам собой у тебя вырывался, а теперь ты смеешься будто через силу... Хорошо, что ты едешь подышать родным воздухом. Здесь все слишком тяжело действует на тебя. Дом наш слишком мрачен и пуст, в лавочке уйма забот, а из меня никудышная собеседница. Милый Клиффорд был единственной твоей отрадой.

– Подойдите сюда, Фиби! – вскрикнул вдруг ее кузен Клиффорд, который говорил очень мало в это утро. – Ближе, ближе… и посмотрите на меня.

Фиби оперлась руками на ручки его кресла и наклонилась к нему так, что могла видеть его лицо как нельзя лучше. Возможно, волнение при мысли о предстоявшей ему разлуке оживило в некоторой степени его ослабевшие способности – только Фиби почувствовала, что он проникает своим взглядом прямо в ее сердце. Минуту назад она не знала за собой ничего, что желала бы от него скрыть, теперь он как будто пробудил в ней воспоминания о чем-то тайном, и она готова была потупить глаза перед Клиффордом. Лицо ее начало покрываться румянцем, который сделался еще ярче от ее попыток подавить его и, наконец, приступил у нее даже на лбу.

– Довольно, Фиби, – сказал Клиффорд с меланхолической улыбкой. – Когда я увидел вас впервые, вы были прелестнейшей в мире молоденькой девушкой, теперь же вы расцвели совершенно. Девичество перешло в женственность; цветочная почка сделалась цветком. Идите же, теперь я еще более одинок, чем прежде.

Фиби простилаась со своими печальными родственниками и прошла через лавочку, с трудом сдерживая готовые выступить на глазах слезы. На ступеньках она встретила мальчугана, чьи удивительные гастрономические подвиги были описаны нами в первой части повести. Она достала с окна какой-то предмет (глаза ее были так затуманены слезами, что она не могла рассмотреть, был ли то кролик или гиппопотам), отдала его мальчику на прощание и продолжила свой путь. В это самое время дядюшка Веннер вышел из своей двери и вызвался проводить Фиби, так как им было по пути; несмотря на заплатанный фрак, порыжелую шляпу и полотняные штаны старика, его общество нисколько не стесняло девушку.

– Значит, вас не будет с нами в следующее воскресенье! – сказал уличный философ. – Непостижимо, как мало иному нужно времени, чтобы человек привык к нему, как к собственному дыханию; а я, с вашего позволения, мисс Фиби, именно так привык к вам. Мне уже столько лет, а ваша жизнь едва началась, и, однако же, у меня порой возникает такое чувство, будто я встретил вас еще в доме своей матери и вы с тех пор, как гибкая виноградная лоза, цвели на моем жизненном пути. Возвращайтесь к нам поскорее, а то я удалюсь на свою ферму, потому что эти деревянные козлы становятся тяжелыми для моей спины.

— Очень скоро вернусь, дядюшка Веннер, — сказала Фиби.

— А еще поспешите ради тех бедных людей, — продолжал ее спутник. — Теперь им без вас не справиться, решительно не справиться, Фиби! Как если бы Божий ангел жил до сих пор с ними и наполнял их печальный дом радостью и спокойствием. Что вы думаете, почувствовали бы они, если бы в такое прекрасное осеннее утро, как сегодняшнее, он распустил свои крылья и улетел от них туда, откуда явился? Именно это они будут чувствовать, когда вы уедете на поезде по железной дороге. Они этого не вынесут, мисс Фиби, и потому поспешите назад.

— Я не ангел, дядюшка Веннер, — ответила Фиби, подавая ему с улыбкой руку. — Но я думаю, что люди никогда не бывают так похожи на ангелов, как в то время, когда делают для ближнего все, на что способны. Я непременно вернусь.

Так расстался дряхлый старик с юной девушкой, и Фиби полетела по железной дороге с такой быстротой, как будто была одарена крыльями воздушного существа, с которым дядюшка Веннер так грациозно ее сравнил.

### Глава XV. Нахмуренные брови и улыбка

Прошло несколько довольно тяжелых и холодных дней. Чтобы не приписывать всей мрачности неба и земли одному отсутствию Фиби, скажем, что в это время с востока пришло ненастье. Буря бушевала вокруг дома с семью шпилями, придавая его почерневшей кровле и старым стенам мрачный вид. Но обстановка внутри него была еще мрачнее. Бедный Клиффорд лишился вдруг всех своих источников радости. Фиби не было, а солнечный свет не играл на полу, падая в окно. Сад со своей грязной растительностью и оцепеневшими, роняющими капли листьями беседки наводил на него дрожь. Ничто не цвело в эту холодную, влажную, безжалостную погоду, только зеленели мшистые пятна на гонтовой крыше и густые заросли камыша, недавно страдавшие от засухи, в углу между двух шпилей.

Что касается Гепзибы, то она не только поддалась влиянию восточного ветра — она сама в своем толстом платье и тюрбане на голове была настоящим олицетворением ненастья. Торговля в лавочке пошла на убыль, потому что пронеслась молва, будто Гепзиба окисляла своим нахмуренным взглядом пиво и съестные припасы. Покупатели, пожалуй, были в чем-то правы, жалуясь на ее

поведение, но по отношению к Клиффорду Гепзиба не была ни брюзгива, ни сурова, и в сердце ее оставалось столько же теплоты к нему, как и прежде, если бы только он мог ее почувствовать! Но безуспешность ее стараний парализовала бедную старую леди. Она не могла придумать ничего лучше, как сидеть с грустным видом в углу комнаты, в которой в полдень стояли сумерки. Гепзиба в этом была не виновата. Все предметы в доме выглядели такими мрачными и холодными – даже старинные столы и стулья, – как будто нынешняя буря была самой жестокой из всех, которым они подвергались. Портрет пуританского полковника дрожал на стене. Сам дом болезненно содрогался от своих семи шпилей до огромного кухонного очага, который символизировал собой сердце этого здания, потому что, построенный для тепла, он был теперь холоден и пуст.

Гепзиба пробовала поправить дело, разведя огонь в приемной. Но буря стерегла камин, и, когда пламя вспыхнуло, ветер погнал дым назад, наполнив закоптелое горло камина его собственным дыханием. Несмотря на это, в продолжение четырех дней непогоды Клиффорд сидел в своем любимом кресле, закутавшись в старый плащ. Но утром пятого дня, когда сестра позвала его к завтраку, он ответил только болезненным ворчанием, выражавшим решительное намерение не покидать постель. Гепзиба и не пыталась заставить его изменить решение. При всей своей любви к нему, она едва была в состоянии исполнять при нем эту обязанность, столь несоразмерную с ее ограниченными способностями, то есть находить развлечения для чувствительного ума, критического и капризного, но лишенного силы и определенного стремления. В этот день, по крайней мере, ей было немного полегче, потому что она могла сидеть и дрожать от холода одна и не испытывать напрасных мук угрызения совести при всяком беспокойном взгляде брата.

Но Клиффорд, несмотря на то, что не выходил из своей комнаты на верхнем этаже, все-таки силился подыскать себе какую-нибудь забаву. После обеда Гепзиба услышала звуки музыки, которые, так как в доме не было больше никакого инструмента, должно быть, издавали клавикорды Элис Пинчон. Она знала, что Клиффорд в молодости любил музыку и умел играть на музыкальных инструментах, но все-таки трудно было понять, как он сохранил это искусство, для которого необходимо постоянное упражнение, в такой мере, чтобы производить эти сладкие, воздушные и нежные, хоть и очень печальные звуки, доносившиеся теперь до ее слуха. Гепзиба невольно подумала о непонятной музыке, которая всякий раз была слышна перед чьей-нибудь смертью в семействе и которую приписывали прославленной легендами Элис, но клавиши,

издав несколько гармонических звуков, вдруг как бы порвались, и музыка умолкла.

Этому ненастному дню не суждено было пройти без приключения. Последние звуки музыки Элис Пинчон (или Клиффорда, если мы можем приписать ему игру на инструменте) были прерваны резким звоном колокольчика в лавке. На пороге послышалось шарканье сапог, потом кто-то тяжело зашагал по полу. Гепзиба помедлила с минуту, чтобы закутаться в полинялую шаль, которая служила ей защитой от восточного ветра в продолжение сорока лет. Но знакомый ей звук – не кашель и не кряканье, а что-то вроде бульканья в груди – заставил ее броситься вперед с тем свирепым испугом, который свойственен женщине в случае крайней опасности. Наша бедная нахмуренная Гепзиба выглядела поистине ужасно. Но посетитель спокойно затворил за собой дверь, положил шляпу на конторку и встретил хозяйку с самым благосклонным выражением лица. Предчувствие не обмануло Гепзибу. Перед ней стоял не кто иной, как судья Пинчон, который, безуспешно попытавшись войти в дом через парадную дверь, решился проникнуть в него через лавочку.

– Как поживаете, кузина Гепзиба? И как переносит эту ужасную погоду наш бедный Клиффорд? – начал судья, и – хотя это покажется странным – восточная буря была пристыжена, или по крайней мере немножко присмирела от его кроткой и благосклонной улыбки. – Я решил зайти и спросить вас еще раз, не могу ли я что-нибудь сделать для него или для вашего спокойствия.

– Вы ничего не можете для него сделать, – ответила Гепзиба, стараясь подавить свое волнение. – Я сама забочусь о Клиффорде. У него есть все, что ему необходимо.

– Но позвольте мне сказать вам, милая кузина, – возразил судья, – что вы ошибаетесь, – при всей вашей любви и нежности, конечно, и самых лучших намерениях, – но все-таки вы ошибаетесь, держа своего брата взаперти. Клиффорд, увы, и без того прожил слишком долго в уединении. Позвольте ему теперь сблизиться с обществом, хотя бы со своими родными. Разрешите мне увидеться с Клиффордом, и я вам отвечаю, что эта встреча произведет на него самое приятное впечатление.

– Вам нельзя видеть его, – ответила Гепзиба. – Клиффорд со вчерашнего дня не покидает постели.

– Как! Он болен? – воскликнул Пинчон с досадой или чем-то похожим на испуг. – О, в таком случае я должен, я хочу видеть его! Что если он умрет?

– Ему нечего опасаться смерти, – сказала Гепзиба и прибавила с колкостью: – Если только его не будет преследовать и не осудит на смерть тот самый человек, который когда-то давно так об этом хлопотал!

– Кузина Гепзиба, – сказал судья с чувством, доведенным почти до слезного пафоса в продолжение его монолога, – неужели вы не понимаете, как вы несправедливы, как враждебны и немилосердны в своем постоянном ожесточении против меня за то, что я вынужден был сделать по совести и по закону? Смогли бы вы, сестра его, проявить к нему больше любви в этом случае? И неужели вы думаете, кузина, что это не принесло мне никаких мучений? О, в моей душе поселилось горе, которое не покидало меня с того дня и до сих пор, несмотря на все благодеяние, которым одарило меня небо! И неужели вы думаете, что я не хотел, чтобы наш милый родственник, друг моей юности, эта нежная, прекрасная натура, этот человек столь несчастный и – нужно сказать – столь преступный, чтобы, одним словом, наш Клиффорд был возвращен к жизни и ее наслаждениям? Ах, вы плохо меня знаете, кузина Гепзиба! Вы плохо знаете это сердце! Оно трепещет теперь при мысли встретить его! Нет на свете другого человека (за исключением вас, да и вы не превзошли в этом меня), который бы пролил столько слез о бедном Клиффорде. Вы и теперь видите их. Никто так не радовался бы его счастью! Испытайте меня, Гепзиба! Испытайте меня, кузина! Испытайте человека, которого вы считали врагом своим и врагом Клиффорда! Испытайте Джейфри Пинчона, и вы увидите, как он предан вам!

– Во имя неба, – воскликнула Гепзиба, в которой этот поток нежностей со стороны человека в высшей степени жесткого возбудил только сильнейшее негодование, – ради самого неба, которое вы оскорбляете и которое удивляет меня своим терпением, оставьте эти уверения в привязанности к вашей жертве! Вы ненавидите Клиффорда! Скажите это прямо, как мужчина! В эту самую минуту вы лелеете в своем сердце какой-нибудь мрачный замысел против него! Скажите все начистоту! Или, если вы надеетесь преуспеть в нем, скрывайте его до тех пор, пока не восторжествуете! Но не говорите больше никогда о вашей любви к моему бедному брату! Я не могу выносить этого! Это когда-нибудь заставит меня позабыть обо всяком приличии! Это сведет меня с ума! Молчите! Ни слова больше! Иначе я брошусь на вас!

На этот раз гнев Гепзибы придал ей смелости, и она высказала свои истинные чувства. Судья, бесспорно, был человеком уважаемым. Никто не отрицал этого. Среди всех, кто его знал, в общественной или частной жизни, не было никого, кроме Гепзибы да какого-нибудь чудака вроде нашего художника, кто мечтал бы оспорить его право на высокое и почетное место, которое он занимал во мнении света. Да и сам судья Пинчон (надо отдать ему справедливость) не слишком часто сомневался в том, что его завидная репутация не согласовывалась с его заслугами. Поэтому совесть его вторила одобрительному голосу света постоянно, кроме разве что небольшого промежутка, равного пяти минутам в сутки или одному черному дню в год. И однако же, мы не решимся подвергнуть опасности нашу собственную совесть, утверждая, что судья и согласный с ним свет были правы, а бедная Гепзиба со своими предрассудками ошибалась. Весьма вероятно, что в прошлом судьи скрывалось какое-нибудь злое и отвратительное дело, забытое им самим или глубоко погребенное под великолепными столбами его тщеславных подвигов. Мы можем даже предположить, что судья мог совершать дурные дела ежедневно, беспрестанно.

Люди с сильным умом, твердым характером и каменным сердцем чаще всего впадают в заблуждения подобного рода. Это преимущественно те люди, для которых формы всего важнее. Поле их действия лежит в области внешних явлений жизни. Они обладают искусством отхватить и обратить в свою собственность такие грубые признаки достояния, как золото, земли и тому подобное. Из этих материалов и из благовидных дел, совершаемых перед лицом света, такой человек обычно возводит высокое и величественное здание, которое в глазах других людей и в его собственных есть не что иное, как характер человека или сам человек. И что за чудное это здание! Его роскошные залы и ряды просторных комнат вымощены мозаикой из дорогого мрамора; окна до самого потолка пропускают солнечный свет сквозь самые прозрачные стекла; высокие карнизы позолочены, потолки великолепно расписаны, а стеклянный купол, сквозь который видно небо, как бы неотделенное от вас никакой преградой, венчает все. Каким более благородным символом может кто бы то ни было пожелать выразить свой характер? Но, увы! В каком-нибудь темном углу или в стоячей луже воды, прикрытой сверху изящнейшей мозаикой, может лежать полусгнивший и продолжающий гнить труп и наполнять все здание своим мертвенным запахом. Обитатель великолепного дома не будет замечать этого запаха, потому что он долго дышал им. Не заметят его и гости, потому что они будут вдыхать только те драгоценные ароматы, которыми хозяин наполнит свои комнаты. Изредка только случится бывать в этом доме человеку, перед чьим

проницательным взором, одаренным печальным даром, все здание растает в воздухе, оставив после себя только скрытый угол, задвинутую засовами конуру с паутиной на двери или безобразную ямку под помостом и гниющий в ней труп. В этом-то мы должны искать истинную эмблему характера человека и дела, которое преображает всю его жизнь, а эта лужа стоячей воды, прикрытая мраморным полом и, может быть, орошенная некогда кровью, — это его жалкая душа!

Что касается судьи Пинчона, то общество не могло не отдавать должное его прекрасным чертам и поступкам, таким как непогрешимость его действий во время заседаний суда, верность общественной службе, преданность своей партии и точность, с какой он соблюдал ее правила; его ревностные речи в качестве председателя одного человеколюбивого общества, его заслуги в садоводстве (он вырастил две особенные породы груш) и в земледелии (он вывел известного пинчоновского быка); его безупречное поведение в течение многих лет жизни; непреклонность, с которой он журил и наконец отверг распутного сына; его старания на пользу общества воздержания; попытки ограничить себя в вине с тех пор, как у него обнаружилась подагра; снежная белизна его белья, чистота сапог, красота трости с золотым набалдашником, покрой фрака и вообще изысканная опрятность его костюма; учтивость, с которой он кланялся, снимал шляпу, кивал или махал рукой своим знакомым на улицах, как богатым, так и бедным; светившаяся на его лице благосклонность, которой он постоянно старался радовать весь мир! Так разве можно найти место для черных красок на портрете такого человека?

И если предположить, что много лет тому назад, в своей ранней и беззаботной молодости, он совершил какое-нибудь темное дело, или даже, что и теперь неизбежная сила обстоятельств могла бы заставить его пойти на одно преступное дело наряду с тысячей похвальных или по крайней мере непредосудительных дел, — то неужели мы стали бы оценивать характер судьи Пинчона по одному этому делу, по этому полузабытому преступлению? Что в этом деле столь тяжелого, чтобы оно перевесило всю ту массу положительных поступков, которые будут положены на другую чашку весов? Эта система равновесия в большом ходу у людей такого сорта, как Пинчон. Жесткий и холодный человек, с решимостью составляющий о себе понятие по отражению своей личности в зеркале общественного мнения, — такой человек редко может прийти к самопознанию другим путем, кроме случайной потери богатства и

репутации. Болезнь не всегда еще бывает в состоянии образумить его, как и сам час смерти.

Но мы должны теперь вернуться к судье Пинчону, который стоит перед полной гнева Гепзибой. К собственному своему удивлению, вовсе непреднамеренно она вдруг высказала ему всю ту ненависть, которую питала к нему в продолжение тридцати лет. До сих пор лицо судьи выражало краткое терпение и почти нежный упрек кузине за ее неистовство. Но когда эти слова были произнесены, взор его стал полон строгости, сознания собственной силы и непреклонной решимости, и вся эта перемена совершилась так естественно и незаметно, что казалось, будто железный человек стоял на этом месте с самого начала, а мягкого человека не было вовсе. Гепзиба почти готова была допустить безумную мысль, что перед ней стоит ее предок, старый пуританин, а не судья, на которого она только что излила всю злобу своего сердца. Никогда еще человек не представлял сильнейшего доказательства приписываемого ему родства, как судья Пинчон в этом случае своим разительным сходством с портретом, висевшим в разговорной.

– Кузина Гепзиба, – сказал он очень спокойно, – пора уже это оставить.

– С радостью, – ответила она. – Отчего же вы не перестанете нас преследовать? Оставьте в покое бедного Клиффорда и меня. Никто из нас не желает от вас ничего больше.

– Я намерен увидеть Клиффорда, прежде чем выйду из этого дома, – продолжал судья. – Перестаньте вести себя как помешанная, Гепзиба! Я единственный его друг. Неужели вы так слепы, что не видите, что без моего согласия, без моих стараний, без моего политического и личного влияния Клиффорд никогда не был бы – как вы это называете – свободным? Неужели вы считаете его освобождение из тюрьмы торжеством надо мной? Вовсе нет, добрая моя кузина, вовсе нет, ни в коем случае! Это было исполнением давнишнего моего намерения. Я вернул ему свободу!

– Вы! – воскликнула Гепзиба. – Я никогда этому не поверю! Он обязан вам только своим заключением в темнице, а своей свободой – Пророчеству Божию!

– Я вернул ему свободу! – повторил судья Пинчон с величайшим спокойствием. – И я явился сюда решить, должен ли он продолжать ею пользоваться. Это будет зависеть от него самого. Вот для чего я хочу его видеть.

– Никогда! Это сведет его с ума! – воскликнула Гепзиба, но уже с нерешимостью, достаточно заметной для проницательных глаз судьи, потому что, не веря в доброту его намерений, она не знала, что опаснее – уступить или сопротивляться. – И зачем вам видеть этого жалкого, разбитого человека, скрывающегося от людей, которые не любят его?

– Он увидит во мне достаточно любви, если только он в ней нуждается! – сказал судья с испытанной уверенностью в благосклонности своего взгляда. – Но, кузина Гепзиба, вы признаетесь в важном обстоятельстве и как раз кстати. Выслушайте же меня: я хочу прямо объяснить вам причины, заставляющие меня настаивать на этом свидании. Тридцать лет тому назад, после смерти нашего дяди Джейфри, оказалось – я не знаю, обратили ли вы внимание ни это обстоятельство, – оказалось, что имущества у него было гораздо меньше, чем полагали. Он слыл чрезвычайно богатым человеком. Никто не сомневался в том, что он принадлежал к числу первых капиталистов своего времени. Но одной из его странностей – если не глупостей – было желание скрывать настоящий размер своего состояния посредством заграничных банковских билетов, может быть, даже написанных не на его имя, и разными другими средствами, хорошо известными капиталистам, но о которых нет надобности теперь распространяться. По духовному завещанию дяди Джейфри, как вы знаете, все его имущество перешло ко мне, с единственным исключением – чтобы вам был предоставлен в пожизненное владение этот старый дом и небольшой участок земли, относящийся к нему.

– Неужели вы хотите лишить нас и этого? – перебила его Гепзиба, не в силах подавить горький упрек. – Так вот цена, за которую вы готовы перестать преследовать бедного Клиффорда?

– Разумеется, нет, милая моя кузина, – ответил судья с улыбкой. – Да вы и сами должны отдать мне справедливость в том, что я постоянно выражал свою готовность удвоить или утроить ваши средства, если только вы решитесь принять этот знак любви от вашего родственника. Нет-нет! Дело вот в чем. Из несомненно огромного состояния моего дяди, как я вам сказал, не осталось после его смерти и половины – куда там, даже трети, как я после убедился. Теперь я имею основательные причины полагать, что брат ваш, Клиффорд, может дать мне ключ к остальному...

– Клиффорд!.. Клиффорд знает о скрытом богатстве? – вскрикнула старая леди, пораженная нелепостью этой идеи. – Но это невозможно! Вы заблуждаетесь!

– Это так же верно, как и то, что я стою на этом месте, – сказал судья Пинчон, ударив своей тростью с золотым набалдашником в пол. – Клиффорд сам говорил мне об этом!

– Нет, быть не может! – недоверчиво покачала головой Гепзиба. – Это вам пригрезилось, кузен Джейффири.

– Я не принадлежу к разряду людей, которые видят грэзы, – сказал судья спокойно. – За несколько месяцев перед смертью моего дяди Клиффорд хвастал мне, что он владеет тайной о несметном богатстве. Так он хотел подшутить надо мной и подстремнуть мое любопытство. Я это хорошо понимаю. Но, припоминая некоторые обстоятельства нашего разговора, я снова и снова убеждаюсь, что в его словах была истина. Теперь, если угодно Клиффорду – а ему должно быть угодно – он сообщит мне, где найти список, документы или другие признаки, в какой бы форме они ни существовали, по которым можно было бы отыскать потерянное богатство дяди Джейффири. Он знает тайну. Он не напрасно хвастал.

– Но зачем было Клиффорду скрывать ее так долго? – спросила Гепзиба.

– Он относился ко мне как к своему врагу, – ответил судья. – Он считал меня виновником постигшего его ужасного бедствия. Поэтому невероятно было, чтобы он объявил мне в тюрьме тайну, которая возвела бы меня выше по ступеням благоденствия. Но теперь наступило, наконец, время, когда он должен открыть мне этот секрет.

– А если он не захочет? – спросила Гепзиба. – Или если – как я уверена – он совсем ничего не знает об исчезнувшем богатстве?

– Милая моя кузина, – сказал судья Пинчон с тем спокойствием, которое в нем было ужаснее исступления, – с тех пор как вернулся ваш брат, я принимал особые предосторожности (вполне естественные для близкого родственника, который должен опекать человека в таком положении). Я постоянно наблюдал за его поведением и привычками. Соседи ваши были свидетелями того, что происходило в саду. Мясник, пекарь, продавец рыбы, некоторые из покупателей вашей лавочки и многие старые богомолки сообщали мне разные тайны из вашей домашней жизни. Еще больший круг людей – и сам я в том числе – может рассказать о его дурачествах в полуциркульном окне. Сотни людей видели его неделю или две назад, готового броситься на мостовую. Из всех этих показаний я вывожу заключение – с отвращением и глубокой грустью, конечно, – что несчастья Клиффорда подействовали на его рассудок, и без того никогда не

отличавшийся силой, и он не может безопасно жить на свободе. Следовательно, вы и сами понимаете, что – впрочем, это будет зависеть от того, какое я приму решение на этот счет, – что его ожидает заключение, может быть, на весь остаток его жизни, в публичном приюте для людей, находящихся в таком же состоянии.

– Не может быть, чтобы у вас был такой умысел! – вскрикнула Гепзиба.

– Если мой кузен Клиффорд, – продолжал Пинчон, – просто от злости и ненависти к человеку, чьи интересы должны быть для него дороги, – а уже одна эта страсть говорит об умственном недуге, – так вот, если он откажется сообщить мне столь важное для меня сведение, которым он, без сомнения, обладает, то мне достаточно будет самого ничтожного свидетельства, чтобы убедиться в его помешательстве. А вы, кузина Гепзиба, знаете меня настолько хорошо, что не можете сомневаться в моей решимости.

– О, Джейфри, кузен Джейфри! – воскликнула Гепзиба с горечью и ужасом. – Вы сами больны умом, а не Клиффорд! Вы позабыли, что ваша мать была женщиной! Что у вас были сестры, братья и дети! Вы позабыли, что между человеком и человеком существует привязанность, что один человек испытывает жалость к другому в этом горестном мире! Иначе как бы вы могли подумать о таком поступке? Вы уже не молоды, кузен Джейфри! Вы – старик! У вас волосы уже поседели! Сколько же лет надеетесь вы еще жить? Неужели вам недостаточно богатства на это недолгое время? Неужели вы думаете, что вам придется голодать? Неужели вы будете нуждаться в одежде или в крыше над головой? О, даже с половиной того, чем вы владеете, вы можете пресытиться роскошными яствами и винами, построить дом вдвое великолепнее того, в котором вы теперь живете, – и все-таки оставите своему единственному сыну такое богатство, что он будет благословлять судьбу. Зачем же вам совершать это жестокое, страшно жестокое дело? Такое безумное дело, что я даже не знаю, называть ли его злодейством!

– Образумься, Гепзиба, ради самого неба! – воскликнул судья с нетерпением, свойственным рассудительному человеку, который услышал полную нелепость. – Я объявил тебе о своем намерении. Я не собираюсь менять решение. Клиффорд должен открыть мне тайну, или я исполню задуманное. Пускай же он решается немедленно, потому что у меня сегодня еще много дел.

– Клиффорд не знает никакой тайны! – ответила Гепзиба. – И Господь не допустит, чтобы вы исполнили ваш умысел.

– Посмотрим, – сказал непоколебимый судья. – А пока решайтесь, что вам делать: позвать ли Клиффорда и устроить свидание между двумя родственниками или вынудить меня прибегнуть к более суровым мерам, от которых я бы с радостью отказался, если бы только совесть моя была спокойна. Но ответственность за это перед Богом падет на вас.

– Вы сильнее меня, – сказала Гепзиба после краткого размышления. – И ваша сила безжалостна. Клиффорд сегодня болен, а свидание, которого вы добиваетесь, расстроит его еще больше. Несмотря на это, зная вас очень хорошо, я предоставлю вам возможность самому убедиться в том, что ему не известна никакая тайна. Я позову Клиффорда. Будьте же милосердны! Потому что очи небесные обращены на вас, Джейфри Пинчон!

Судья последовал за своей кузиной из лавочки, в которой происходил этот разговор, в ее приемную и тяжело опустился в старое кресло. Многие его предки отдыхали в этом просторном кресле: розовощекие дети после своих игр; молодые люди, мечтавшие о любви; совершенолетние, обремененные заботами; старики, согбенные летами. Они размышляли, спали здесь, а потом засыпали еще более глубоким сном. Существовало предание, хотя и сомнительное, что это было то самое кресло, в котором скончался первый из новоанглийских предков судьи, тот самый, чей портрет до сих пор висел на стене. Может быть, с того зловещего часа до настоящей минуты – мы не знаем тайны сердца судьи Пинчона, но, может быть, ни один более усталый и печальный человек не опускался в это кресло. Без всякого сомнения, ему недешево обходилась эта железная броня, которой он оковал свою душу. Такое спокойствие есть следствие гораздо более тяжелых душевных потрясений, нежели исступление слабого человека. И притом ему предстояло еще одно тяжкое дело. Он должен был теперь, спустя тридцать лет, встретиться с родственником, восставшим из могилы, и заставить его открыть тайну или же осудить его снова на погребение заживо.

– Вы что-то сказали? – спросила Гепзиба, оглянувшись на него с порога приемной, потому что ей показалось, будто судья издал какие-то звуки, которые она рада была бы истолковать как отсрочку свидания. – Я думала, что вы зовете меня назад.

– Нет-нет! – сердито бросил судья Пинчон, нахмурив брови, между тем как лоб его покрылся почти черным багрянцем в полумраке комнаты. – Зачем мне звать вас назад? Время идет! Просите ко мне Клиффорда!

Судья достал часы из кармана своего жилета и держал их в руке, гадая, сколько времени пройдет до появления Клиффорда.

## Глава XVI. Комната Клиффорда

Никогда еще старый дом не казался таким печальным бедной Гепзибе, как в то время, когда она исполняла это горестное поручение. Она проходила по истертым половицам коридоров и отворяла одну обветшалую дверь за другой, поднимаясь по скрипучей лестнице и с ужасом оглядываясь вокруг. Ничего удивительного, если ей слышался шорох платьев покойников или чудились бледные лица, ожидающие ее на площадке вверху лестницы. Нервы ее были потрясены предшествовавшей сценой. Разговор с судьей Пинчоном вызвал из забвения страшное прошлое, и оно камнем легло ей на сердце. Все истории, какие она слышала от теток и бабушек, пришли ей теперь на память, мрачные, страшные, холодные, какой по большей части была вся летопись рода Пинчонов. Они казались ей набором бедствий, повторявшихся в каждом последующем поколении, имевших один и тот же колорит. Но Гепзиба чувствовала теперь, будто судья, Клиффорд и она сама – все трое вместе – были готовы внести новое событие в фамильную летопись, более злодейское и горестное. Она не могла освободиться от предчувствия чего-то небывалого, что должно было скоро свершиться. Нервы ее были расстроены. Инстинктивно она остановилась у полуциркульного окна и посмотрела на улицу. Она была поражена, когда увидела, что все там оставалось таким же, как и накануне, и в предшествовавшие дни. Она переводила взгляд с одной двери на другую, изучала мокрые тротуары. Прищурив свои мутные глаза, она принялась рассматривать известное ей окно, в котором, как она угадывала, портниха сидела за работой. Гепзиба мысленно заручилась поддержкой этой незнакомой женщины. Потом ее внимание привлекла проезжавшая мимо карета; когда карета исчезла, на улице вдруг показалась знакомая фигура доброго дядюшки Венера: он плелся еле-еле, сражаясь со своим ревматизмом, который усилился под влиянием восточного ветра. Гепзиба желала, чтобы он шел еще медленнее, спасая ее от одиночества. Все, что могло на время оторвать ее от горестного настоящего, все, что отсрочивало на минуту ее неизбежную миссию, – все подобные препятствия были для нее отрадны.

У Гепзибы недоставало смелости противостоять собственным страданиям – как же ей, наверно, было тяжело обречь на страдание Клиффорда! Столь нежный по

натуре своей и претерпевший столько бедствий, он мог пасть окончательно, сойдясь лицом к лицу с жестким, безжалостным человеком, который всю жизнь был его злым гением. Даже если бы между ними не было никакой вражды, то одно естественное отвращение глубоко духовной натуры к натуре тяжелой и невпечатлительной могло бы само по себе быть бедственным для первой – как если бы фарфоровая ваза, уже и без того надколотая, столкнулась с гранитной колонной. Никогда еще Гепзиба не давала такое верное определение характеру своего кузена Джейфри, – непоколебимый и бесцеремонный, он не гнушался добиваться своих эгоистических целей дурными средствами. Это казалось Гепзибе тем ужаснее, что судья заблуждался касательно тайны, которой будто бы обладал Клиффорд. А так как судья требовал от Клиффорда невозможного, то Клиффорд, не будучи в состоянии удовлетворить его, неизбежно должен был погибнуть. В самом деле, что станет с мягкой, поэтической натурой Клиффорда в руках такого человека? Она будет сокрушена, раздавлена и совершенно уничтожена!

У Гепзибы мелькнула мысль, не знает ли Клиффорд и в самом деле чего-нибудь об исчезнувшем богатстве покойного дяди, как полагал судья. Она припомнила некоторые неопределенные намеки со стороны брата, которые – если только это предположение не совсем нелепо – могли быть истолкованы таким образом. Он мечтал иногда о путешествиях в чужих краях, грезил о блестательной жизни на родине и строил великолепные воздушные замки – для осуществления всех этих планов и надежд требовалось несметное богатство. Если бы это богатство было в ее руках, с какой бы радостью она отдала бы его своему чуждому сострадания родственнику, чтобы тем самым купить Клиффорду свободу и заключение в этом старом печальном доме. Но она была уверена, что планы ее брата так же мало основывались на действительности, как намерения ребенка касательно его будущей жизни, которые он высказывает, сидя в маленьком кресле подле своей матери. Клиффорд имел в своем распоряжении только фантастическое золото, а оно было не нужно судье Пинчону!

Неужели у них не оставалось никакого выхода? Неужели они были столь беспомощны? Гепзиба могла бы тотчас отворить окно и закричать на всю улицу. Каждый поспешил бы к ним на помощь, хорошо поняв, что этот крик есть крик души человеческой в каком-то ужасном кризисе. «Но как это дико, как смешно и, однако же, совсем не удивительно в нашем мире, – думала Гепзиба, – что кто бы и с какими бы побуждениями ни явился на помочь, можно сказать наверняка, что помочь будет оказана сильнейшей стороне!» Судья Пинчон, человек

почтенный в глазах света, обладающий огромным состоянием и превосходной репутацией, покажется людям таким импонирующим лицом, выставит себя в таком свете, что сама Гепзиба практически вынуждена будет отказаться от своих заключений относительно его фальшивой честности. Судья на одной стороне – кто же на другой? Преступный Клиффорд, в прошлом совершивший ужасное злодейство!

Гепзиба не знала, что ей предпринять. Маленькая Фиби озарила бы тотчас перед ней всю сцену если не каким-нибудь полезным внушением, то просто предприимчивостью своего характера. Так как она отсутствовала, у Гепзибы мелькнула мысль о художнике; несмотря на его молодость и неизвестность, несмотря на то, что он был простым искателем приключений, она чувствовала, что он способен побороться в решительную минуту. С этой мыслью она приоткрыла дверь,вшенную паутиной и давно уже не отворявшуюся, но в старые времена служившую путем сообщения между ее комнатами и нынешним обиталищем художника. Его не было дома. Книга, лежавшая корешком кверху на столе, свернутая рукопись, наполовину исписанный лист, газета, некоторые инструменты нынешнего его ремесла и несколько неудавшихся дагеротипов произвели на посетительницу такое впечатление, как будто художник был где-то рядом. Но в это время, как Гепзиба могла догадываться, художник должен был находиться в своей публичной мастерской. Из праздного любопытства, которое как-то странно примешалось к ее тяжелым мыслям, она взглянула на один из дагеротипов и увидела судью Пинчона, хмурящегося на нее. Судьба посмотрела ей в лицо. Гепзиба в отчаянии оставила свои бесплодные поиски. В продолжение всего ее долгого затворничества она никогда еще не чувствовала так, как теперь, что значит быть одинокой. Ей казалось, будто дом ее стоял среди пустыни или был невидим тем, кто жил вокруг или проходил мимо, так что в нем могло произойти какое угодно несчастье, горестное приключение или преступление, и никто не сумеет помочь. В своем горе Гепзиба провела всю жизнь, сторонясь друзей; она добровольно отвергла помощь, которую Господь заповедал своим созданиям оказывать друг другу, и в наказание за это Клиффорд и она стали теперь легкими жертвами своего родственника.

Возвратившись к полуциркульному окну, близорукая Гепзиба подняла глаза к небу, хмурясь и на него, как на все в мире, хотя она силилась послать молитву к небесам сквозь густой покров облаков. Эти облака скопились на небе, как бы символизируя огромную массу человеческих треволнений, замешательств и холодного равнодушия. Отчаяние женщины было так сильно, что она не могла

вознести к небесам своей молитвы; молитва падала обратно на ее сердце свинцовым бременем и приводила его в ужас. Провидение разливает свое правосудие и благость, как солнечный свет, по всему миру. Но Гепзиба не знала, что как теплые солнечные лучи светят в окно каждой хижины, так и лучи попечения и милосердия Божия проливаются для каждой отдельной нужды.

Наконец, не находя больше никакого предлога откладывать муку, на которую она должна была обречь Клиффорда, и боясь услышать голос судьи, призывающий ее поторопиться, она поплелась, как бледное, убитое горем привидение, к двери комнаты брата и постучалась. Ответа не было. Да и как он мог услышать? Ее дрожащая рука так слабо касалась двери, что даже снаружи едва был слышен стук. Она постучала опять. И вновь никакого ответа! Но и это не было удивительно. Она стучала со всей силой своего отчаяния, с ужасом. Клиффорд должен был спрятать лицо в подушку и закутаться в одеяло, как испуганный ребенок в полночь. Она постучала в третий раз тремя правильными ударами, тихо, но совершенно ясно. Клиффорд не дал никакого ответа.

– Клиффорд! Милый брат! – позвала Гепзиба. – Могу ли я войти?

Молчание.

Три или четыре раза Гепзиба позвала его, но безуспешно. Наконец, думая, что ее брат спит очень глубоким сном, она отворила дверь и, войдя в комнату, обнаружила, что она пуста. Каким образом Клиффорд мог выйти и куда, так, что она не заметила? Возможно ли, что, несмотря на ненастный день, он вздумал совершить обычную прогулку по саду и теперь дрожал там под печальным лиственным покровом беседки? Она торопливо отворила окно, высунула в него свою голову в тюрбане и половину своей худощавой фигуры и оглядела сад так внимательно, как только позволила ей близорукость. Гепзиба видела внутренность беседки и кружок скамеек, мокрых от дождевых капель, пробивавшихся сквозь крышу. Никого в беседке не оказалось. Не было Клиффорда и в других местах – разве что он спрятался где-нибудь, как Гепзибе на мгновение пришло в голову, например, среди тыквенных стеблей. Но нет, его там не было, потому что оттуда осторожно вышла старая кошка странного вида и начала пробираться через сад. Дважды она останавливалась понюхать воздух и потом продолжала свой путь к окошку приемной. Старая леди, несмотря на свое беспокойство, почувствовала желание отпугнуть ее и бросила в нее оконной подпоркой. Кошка вытаращила на нее глаза, как уличенный разбойник, и тотчас обратилась в бегство. Никакого живого существа не видно было больше в саду.

Горлозвон и его семейство не покидали своего насеста, упав духом от бесконечного дождя.

Гепзиба затворила окно. Где же был Клиффорд? Неужели, узнав о том, что его ожидает, он пробрался потихоньку по лестнице, когда судья Пинчон разговаривал с Гепзибой в лавочке, отодвинул задвижки входной двери и убежал на улицу? Она уже видела в воображении его серую, изнуренную, но ребяческую фигуру в старомодном платье, которое он носил дома. Эта фигура бродила по городу, обращая на себя общее внимание, изумляя и отталкивая от себя всех, как дух, тем более страшный, что он явился среди белого дня. Она возбуждала насмешки молодых людей, которые не знали Клиффорда; подвергалась сровому презрению и негодованию немногих стариков, которым некогда были знакомы черты его; становилась игрушкой мальчишек, которые в юном возрасте чувствуют так же мало почтения к тому, что прекрасно и свято, как и жалости к тому, что печально. Они задевают Клиффорда своими оскорблениями, резкими криками, своим жестоким хохотом. Или, что тоже может быть, если и никто не оскорбляет его, его может увлечь необычность его положения, и ему придет в голову какая-нибудь странная затея, которую истолкуют как помешательство? Таким образом враждебный план судьи осуществляется сам собой.

Потом Гепзибе пришло на ум, что город был почти со всех сторон окружен водой. Каналы, идущие к гавани, в эту ненастную погоду были оставлены толпой купцов, поденщиков и матросов; вдоль их берегов чернели только брошенные суда. Что если ее брат добрел до одного из этих каналов и, склонившись над черной глубиной воды, подумал, что это единственное доступное ему убежище и только так он может спастись навеки от преследований своего родственника?

Это последнее опасение наполнило новым ужасом душу бедной Гепзибы. Даже Джейфри Пинчон мог теперь помочь ей! Она поспешила спуститься по лестнице с криком:

– Клиффорд убежал! Я не нашла брата! Помогите, Джейфри! С ним может случиться какое-нибудь несчастье!

Она отворила дверь приемной. Но древесные ветви, закрывавшие от части окна, закоптелый потолок и темные дубовые стены создавали в комнате такую темноту, что близорукая Гепзиба не могла ясно видеть фигуру судьи. Она, однако

же, была уверена, что он сидит в старинном кресле посреди комнаты и, повернувшись к ней немного боком, смотрит в окно.

— Я говорю вам, Джейфри, — нетерпеливо вскрикнула Гепзиба, отворачиваясь от двери и оправляясь искать брата в других комнатах, — Клиффорда нигде нет! Помогите мне отыскать его!

Но судья Пинчон был не таким человеком, чтобы вскочить с кресла с торопливостью, вовсе не соответствовавшей как достоинству его характера, так и величественным размерам его особы, потому только, что женщина подняла крик. Впрочем, если принять в соображение его собственный интерес в этом деле, то, казалось, он должен был выразить некоторое беспокойство.

— Слышили ли вы меня, Джейфри Пинчон? — повторила Гепзиба, опять приближаясь к двери приемной после безуспешных исканий. — Клиффорд ушел!

В эту минуту, на пороге приемной показался, выйдя из соседней комнаты, сам Клиффорд. Лицо его было необыкновенно бледно, так бледно, что Гепзиба могла различить его черты в густом сумраке коридора, как будто свет падал на одно это лицо. На нем запечатлелось выражение презрения и насмешки, а в жестах Клиффорда сквозило внутреннее волнение. Остановившись на пороге и обернувшись назад, он указал пальцем в приемную так, как будто призывал не одну Гепзибу, но целый свет посмотреть на что-то непостижимо смешное. Этот поступок, столь несопоставимый с обстоятельствами, столь странный и сопровождаемый притом взглядом, который выражал чувство, похожее на радость, заставил Гепзибу опасаться, что посещение ее родственника решительно свело с ума Клиффорда. А спокойствие судьи она не могла объяснить себе иначе, как предположив, что он коварно наблюдает за тем, как Клиффорд обнаруживает признаки своего безумия.

— Успокойся, Клиффорд! — шепнула ему сестра, знаком призывая его к осторожности. — О, ради бога, успокойся!

— Пускай он теперь успокоится! Ему больше нечего делать, — ответил Клиффорд, снова показывая пальцем в комнату, которую только что оставил. — Что же касается нас, Гепзиба, то мы теперь можем танцевать, петь, смеяться, играть и делать все, что нам угодно. Тяжесть свалилась с наших плеч, Гепзиба! Старый мир рухнул, и мы можем теперь быть веселы, как и маленькая Фиби!

И в подтверждение своих слов он захотел, продолжая указывать пальцем на предмет, невидимый для Гепзибы, в приемной. Тут ее вдруг поразила мысль о каком-нибудь ужасном происшествии, случившемся в ее комнате. Она проскользнула мимо Клиффорда, но почти в ту же минуту вернулась. Крик застыл в ее горле. Бросив на своего брата испуганно-вопросительный взгляд, она увидела, что он весь трепещет, но в этом смятении чувств на его лице все еще выражалась восторженная радость.

– Боже мой! Что теперь с нами будет? – воскликнула Гепзиба.

– Пойдем! – сказал Клиффорд решительным тоном, совершенно ему не свойственным. – Оставим старый дом нашему кузену Джейфри! Он о нем позаботится!

Только Гепзиба теперь заметила, что Клиффорд был в плаще – очень старом, – в который он обыкновенно закутывался в продолжение последних ненастных дней. Он махнул рукой, выражая желание – насколько Гепзиба могла понять этот жест – уйти из дома. Бывают такие головокружительные минуты в жизни людей, у которых недостает силы характера, минуты испытания, когда вдруг может проявиться их смелость, но когда эти люди, предоставленные самим себе, бесцельно идут вперед или следуют доверчиво за всяkim случайным провожатым, даже если это ребенок. Они не обращают внимания на нелепость или безумие своего поступка, они слепо хваются за сделанное им предложение. Гепзиба была именно в таком состоянии. Не привыкшая действовать, приведенная в ужас представившимся ей зреющим и боясь спрашивать, боясь даже воображать, как это могло случиться, сбитая с толку удушающим страхом, который спутал мысли в ее голове, она повиновалась воле Клиффорда. Она двигалась как во сне – до такой степени была подавлена ее собственная воля.

– Ну что ты медлишь? – резко крикнул Клиффорд, который обрел решимость в момент страшного напряжения душевных сил. – Надевай свой плащ и шляпку или что тебе угодно! Все равно, что бы ты ни надела, ты не будешь красавицей ни в чем, моя бедная Гепзиба! Бери свой кошелек с деньгами, и отправимся!

Гепзиба повиновалась этим наставлениям, как будто ничего больше не нужно было делать, ни о чем больше думать. Правда, она начала удивляться, отчего бы ей не проснуться и не убедиться, что в действительности ничего ужасного не случилось. Не может быть, чтобы это было наяву; этот мрачный, бурный день

еще не начинался; судья Пинчон еще не разговаривал с ней; Клиффорд еще не смеялся, не указывал пальцем, не махал ей рукой, призывая уйти из дома.

«Теперь я непременно проснусь! – думала Гепзиба, ходя взад-вперед и готовясь к отъезду. – Я не могу больше выносить это! Теперь я непременно должна проснуться!» Но он не наступал, этот момент пробуждения, не наступил он и тогда, когда, уже перед самым выходом из дома, Клиффорд тихо подошел к двери приемной и простился с сидевшим в ней человеком.

– Как нелепо теперь выглядит старик! – шепнул он Гепзибе. – И именно в то время, когда думал, что поймал наконец меня в свои лапы!.. Пойдем, пойдем! Скорее! А то он вскочит и цапнет нас, как кошка мышь!

Когда они выходили на улицу, Клиффорд обратил внимание Гепзибы на какие-то буквы на одном из столбов фронтона. То был его собственный вензель, который он вырезал в детстве с изяществом, характеризовавшим все его действия. Брат и сестра зашагали по улице, оставив судью Пинчона в старом доме своих предков.

### Глава XVII. Бегство двух сов

Холодный восточный ветер заставлял бедную Гепзибу стучать немногими уцелевшими у нее зубами, когда она вместе с Клиффордом шла ему навстречу по улице Пинчонов к центру города. Но она дрожала не от одного холода (хотя, впрочем, ее ноги и в особенности руки никогда еще не были так мертвенно холодны, как теперь) – душу ее била такая же дрожь. Она была бесприютна в этом огромном мире! Это чувствует всякий, кто впервые пускается в странствование по свету, даже если он отправляется в путь в то время, когда горячий поток жизни стремится по его жилам. Каково же было Гепзибе и Клиффорду, пожилым людям, похожим своей неопытностью на детей, – каково было им выйти в открытый мир из-под сени вяза Пинчонов! Они предприняли такое путешествие на край света, о каком часто мечтает ребенок с какими-нибудь шестью пенсами и сухарем в кармане.

В продолжение этой странной экспедиции Гепзиба время от времени искося посматривала на Клиффорда и не могла не заметить, что он находится под влиянием сильного возбуждения, которое и дало ему вдруг непреодолимую власть над своими движениями. Это возбуждение походило на опьянение от

вина, но еще лучше можно сравнить его с веселой музыкальной пьесой, которую с дикой живостью играют на расстроенном инструменте.

Они встречали мало народа, даже тогда, когда вышли из уединенных окрестностей Дома с семью шпилями в самую многолюдную и шумную часть города. Две странные фигуры едва ли обращали на себя столько внимания, сколько молодая девушка, которая в это самое время проходила по мокрым тротуарам, приподняв свою юбку. Если бы их бегство случилось в ясный и веселый день, они едва ли смогли бы пройти по улицам, не став предметом оскорбительного любопытства. Теперь же они гармонировали с печальной непогодой и потому не выделялись из общей серой массы окружающих их предметов.

Было ли то намерение Клиффорда или дело случая, только они очутились наконец у входа в огромное строение из серого камня. Внутри этого строения было довольно большое пространство, наполненное отчасти дымом паровоза, готового отправиться в путь. Не размышая ни минуты, с непреодолимой решимостью, если не беззаботностью, которая вдруг овладела им, а от него передалась и Гепзибе, Клиффорд тотчас подошел с ней к вагону и провел ее в открытую дверцу. Сигнал был подан, поезд тронулся, и вместе с сотней других путешественников эти два необыкновенных странника полетели вперед, как ветер. Таким образом, после столь долгого уединения они наконец брошены были в великий поток человеческой жизни и понеслись вместе с ним, влекомые самой судьбой.

Все еще не избавившись от мысли, что это происходит наяву, затворница семи шпилей прошептала на ухо своему брату:

– Клиффорд! Клиффорд! Неужели это не сон?

– Сон, Гепзиба? – повторил он, почти захохотав. – Напротив, я спал до сих пор, но сейчас впервые пробудился!

Между тем они видели из окна, как мир проносился мимо них. Иногда они мчались по пустыне; потом вокруг них вдруг вырастал город; еще минута – и он исчезал, как будто разрушенный землетрясением. Встречные дома, казалось, срывались со своих оснований, широкие холмы скользили мимо. Все оставляло свою вековую неподвижность и вихрем неслось в противоположную им сторону.

Внутри вагона кипела обычная жизнь, представлявшая мало пищи для наблюдений другим путешественникам, но исполненная новизны для этих двух странным образом освобожденных пленников. Достаточно заметить, что здесь, под одной с ними крышей, было пятьдесят человек. Им казалось странным, как все эти люди могут так спокойно сидеть на своих местах. Некоторые, с ярлычками на шляпах (это были те, кому предстоял дальний путь по железной дороге), погрузились в чтение памфлетов, другие просматривали газеты. Несколько девушек и один молодой человек в противоположном конце вагона даже нашли место для игры в мяч. Они то и дело бросали его туда-сюда со смехом. Мальчики с яблоками, пирожками и конфетами, напоминавшими Гепзибе о брошенной ею лавочке, появлялись перед вагонами, когда поезд останавливался где-нибудь, и торопливо продавали свои товары пассажирам. Новые путешественники беспрестанно прибывали. Старые знакомые постоянно убавлялись. Некоторые засыпали, убаюканные говором и суетой. Сон, игра, дела, чтение и общее неизбежное стремление вперед – что же это такое, если не сама жизнь?

Все чувства Клиффорда казались обостренными. Он внимал всему, что происходило вокруг него. Гепзиба же, напротив, ощущала себя еще более оторванной от человечества, нежели в своем прошлом заточении.

– Ты разве не чувствуешь себя счастливой, Гепзиба? – тихо сказал ей Клиффорд, с упреком в голосе. – Ты все думаешь об этом грустном доме и о кузене Джейфри (он содрогнулся при этом имени), который сидит там один. Послушайся меня: следуй моему примеру и позабудь обо всем этом. Мы теперь живем, Гепзиба! Мы среди людей, среди подобных нам существ! Будем же оба счастливы! Так счастливы, как вон тот молодой человек и его подруга со своей игрой в мяч!

«Счастливы, – думала Гепзиба, ощущив при этом слове в своей груди сердце, обремененное тяжким горем. – Счастливы! Он помешан, и если бы я окончательно проснулась, то и я помешалась бы тоже».

Перед ними мелькали разнообразные картины, но все, что видела Гепзиба, – это семь старых шпилей, мох на крыше, окно лавочки, покупатели, отворяющие дверь, и звенящий колокольчик, который при всей резкости своего звона не может пробудить судью Пинчона. Образ этого старого дома возникал перед ней всюду, куда она устремляла взор. Ум Гепзибы не был гибок, она не могла с таким энтузиазмом вбирать в себя новые впечатления, как Клиффорд. Она вряд ли

прожила бы долго, будучи вырвана с корнем из привычной почвы. Поэтому отношения, существовавшие до сих пор между братом и сестрой, изменились. Дома она была его хранительницей и наставницей, здесь же Клиффорд заступил на ее место. К нему, пусть и временно, вдруг вернулись и мужественность, и умственная сила.

Кондуктор спросил у них ярлык, и Клиффорд подал ему банковский билетик, заметив, что так делали многие другие.

– За вашу даму и за вас? – спросил кондуктор. – А как далеко вы едете?

– Как можно дальше, – ответил Клиффорд. – Об этом нечего заботиться. Мы едем просто для удовольствия.

– Вы выбрали для этого странную погоду, сэр! – заметил один пожилой господин с острым взглядом, который сидел на другой стороне вагона и смотрел на Клиффорда и его спутницу с любопытством. – По-моему, лучше всего в такой дождь сидеть у себя дома перед камином.

– Я не могу с вами согласиться, – сказал Клиффорд, учтиво поклонившись пожилому джентльмену. – Мне кажется, напротив, что это удивительное изобретение, эта железная дорога, предназначено для того, чтобы избавить человека от старых представлений о домашнем очаге и заменить их чем-нибудь получше.

– Во имя здравого смысла, – сказал брюзгливо старый джентльмен, – что может быть для человека лучше его комнаты и камина?

– Эти вещи вовсе не имеют того достоинства, какое им приписывают, – возразил Клиффорд. – Мне кажется, что благодаря удобствам переезда с места на место мы когда-нибудь снова вернемся к странствующей жизни. Вы знаете, сэр, вы не могли не убедиться в этом на собственном опыте, что всякий человеческий прогресс напоминает движение вверх по спирали. В то время как мы воображаем, что стремимся вперед, мы, в сущности, только возвращаемся к тому, что давно было опробовано. Прошлое есть только намек на будущее. В ранние эпохи люди жили во временных хижинах или шатрах из древесных ветвей, которые строились так же легко, как и птичьи гнезда. Жизнь эта имела свою прелесть, но человек стал жить иначе. Наступило время тяжкое и скучное; человек томился в своих переходах через пустыни, добывал средства к существованию и терпел разнообразные лишения... Но теперь появились

железные дороги – величайшее благо. Они придали нам крылья, они уничтожают пот и пыль странствования, они одухотворяют путешествие. Если же переезд с места на место так удобен, то что заставит человека оставаться на одном месте? Зачем ему теперь строить такие жилища, которые нельзя взять с собой? Зачем ему запирать себя на всю жизнь в кирпичных или в старых, источенных червями бревенчатых стенах, если он может жить везде, где захочет?

Лицо Клиффорда горело, когда он развивал эту теорию, юношеский жар рвался из его души наружу. Веселые девушки оставили свой мяч на полу и смотрели на него с удивлением. Может быть, они думали, что, когда еще не поседели волосы этого человека и лицо его не избородили морщины, его образ оставался в сердце многих женщин. Но, увы! Они не видели его лица, когда оно было прекрасным.

– Я не могу назвать это счастьем, – изрек новый знакомый Клиффорда, – жить везде и нигде.

– Неужели? – воскликнул Клиффорд с необыкновенной энергией. – Мне кажется ясным, как белый день, что эти кучи кирпича и камня или массы тяжелых бревен, которые люди называют своими домами, по сути, свой камень преткновения на пути человеческого счастья и совершенствования. Душе нужен простор и частые перемены. Нет воздуха менее здорового, чем воздух иного старого дома, отравленного каким-нибудь покойным предком или родственником. Я говорю это по опыту. В моих воспоминаниях сохранился дом – один из этих домов с заостренными кверху фронтонами и с выступающим вперед верхним этажом, какие вам, конечно, случалось видеть в старых городах, – закоптелый, осевший, обветшалый, настоящая старая тюрьма, с одним полуциркульным окном над входом, с небольшой дверью лавочки сбоку и с развесистым вязом перед ним. Всякий раз, сэр, когда мои мысли обращаются к этому дому, мне представляется образ пожилого человека замечательно суровой наружности, сидящего в дубовом кресле, мертвого, с отвратительными пятнами крови на его белом воротнике и на манишке, – мертвого, но с открытыми глазами. Я никогда не смог бы благоденствовать в этом доме, не смог бы быть счастливым и наслаждаться тем, что Господь послал мне!

Лицо его омрачилось, как будто холодная старость вдруг прошла по его чертам и оставила на них свой разрушительный след.

– Никогда, сэр! – повторил он. – Никогда я не смог бы дышать в нем свободно!

— Я не могу понять, — сказал пожилой джентльмен, всматриваясь в него пристально и немного испуганно, — как сформировалась в вашей голове такая мысль!

— Конечно, не можете, — ответил Клиффорд. — Я испытал бы величайшее облегчение, если бы этот дом был разрушен до основания или сожжен, а место, на котором он стоит, поросло густой травой. Я желал бы никогда не видеть его снова, потому что, чем дальше я от него уезжаю, тем больше чувствую в себе радости, свежести, биения сердца, движения ума, — словом, молодость — моя молодость! — возвращается ко мне. Не далее как сегодня утром я был стариком. Я припоминаю, как смотрел в зеркало и дивился своим седым волосам, и глубоким морщинам на лбу, и бороздам на щеках. Все это пришло слишком рано! Я не могу выносить этого! Старость не имела права прийти ко мне! Я еще не жил! Но теперь кажусь ли я стариком? Если и кажусь, то внешность моя обманчива, потому что, с тех пор как мой ум освободился от ужасной тяжести, я чувствую, что лучшие годы у меня еще впереди!

— Верю, — сказал пожилой джентльмен в каком-то замешательстве, — и желаю вам этого от всего сердца.

— Ради бога, милый Клиффорд, замолчи! — прошептала его сестра. — Они считают тебя безумцем.

— Замолчи сама, Гепзиба! — ответил ей брат. — Какое мне дело, что они думают? Я не безумен. Первый раз за тридцать лет мой ум пробился сквозь свою корку. Я должен и хочу говорить!

Он обратился опять к пожилому джентльмену и возобновил разговор.

— Да, милостивый государь, — продолжал он, — часто человек строит большой мрачный дом для того только, чтобы умереть в нем и чтобы потомство его бедствовало в этом доме. Он кладет свой труп под его срубом, вешает свой портрет на стене и при этом надеется, что его потомство будет в нем благоденствовать! Я не брежу, нет! Такой дом стоит до сих пор, он маячит перед моим внутренним взором!

— Но вы, сэр, — сказал пожилой джентльмен, желая как-нибудь прервать разговор, — не виноваты, что жили в нем. Вы очень странный человек, сэр! — прибавил он, выпучив на него глаза, как будто хотел пробуравить ими Клиффорда насеквоздь. — Я вас не понимаю!

— Это удивляет меня! — смеясь, воскликнул Клиффорд. — А между тем я прозрачен, как вода в источнике Моула. Но послушай, Гепзиба, мы уехали уже слишком далеко. Надо нам отдохнуть, как делают птицы: опустимся на ближайшую ветку и посоветуемся, куда нам лететь дальше.

Так случилось, что в это самое время поезд остановился перед уединенной станцией. Воспользовавшись короткой паузой, Клиффорд с Гепзибой покинули вагон. Через минуту поезд умчался вдаль. Мир улетел от наших двух странников. Они с ужасом провожали его глазами. Невдалеке от станции стояла деревянная церковь, почерневшая от времени, полуразрушенная, с разбитыми окнами, большой трещиной в стене и с бревном, торчащим из кровли. За ней виднелся сельский домик столь же почтенного вида, как и церковь, с трехъярусной кровлей. В нем, по-видимому, никто не жил. Правда, у входа лежали дрова, но между ними уже выросла трава. Мелкие капли дождя вдруг полетели с неба; ветер был не сильным, но резким и холодным.

Клиффорд дрожал всем телом. Возбужденное состояние, в котором у него появлялось столько мыслей и фантазий и в котором он говорил из простой необходимости излить бурлящий поток идей, совершенно миновало.

— Теперь ты бери на себя все заботы, Гепзиба! — проговорил он неясным и лишенным музыкальности голосом. — Распоряжайся мной как хочешь.

Гепзиба преклонила колени на церковной площадке, которой они достигли, и подняла сложенные руки к небу. Серая, тяжелая масса облаков закрывала его, но женщина видела за этими облаками небеса и Всемогущего Отца, взирающего с них на землю.

— О, Боже! — сказала бедная Гепзиба и потом помолчала с минуту, чтобы подумать, о чем ей надо молиться. — О, Боже, Отец наш! Разве мы не твои дети? Сжался над нами!

### Глава XVIII. Возвращение к Пинчону

Между тем как родственники судьи Пинчона бежали с такой поспешностью, он продолжал сидеть в старой приемной комнате Гепзибы. Наша история,

заблудившаяся, как сова в дневном свете, должна теперь возвратиться в свое мрачное дупло, в Дом с семьёй шпилями, и заняться судьей Пинчоном. Он не переменил своего положения. Он не шевельнул ни рукой, ни ногой и не отвел своих глаз от окна с тех самых пор, как Гепзиба и Клиффорд вышли на улицу и старательно заперли за собой входную дверь. В левой руке судья держал часы, но пальцами закрыл циферблат. Слышалось тиканье часов, но дыхания судьи Пинчона не слышно было вовсе.

Странно, однако, что джентльмен, славившийся своей пунктуальностью, так задержался в старом пустом доме, который он, по-видимому, никогда не любил посещать. В этот день он должен был сделать много дел. Во-первых повидаться с Клиффордом. По расчету судьи на это нужно было полчаса, но, принимая в соображение, что он сперва должен переговорить с Гепзибой, он заложил на это час. А между тем он сидел уже два часа по собственному его хронометру. Время как будто вдруг потеряло для него всякое значение.

Неужели он позабыл обо всех своих планах на этот день? Окончив дела с Клиффордом, он намерен был повидаться с маклером, потом успеть на аукцион, где должна была продаваться часть земли, относившейся некогда к Дому с семью шпилями и являвшейся частью собственности старого колдуна Моула. Далее он должен был купить коня, которым сам хотел править в кабриолете; потом хотел посетить намогильный памятник миссис Пинчон: он узнал от каменщика, что лицевая сторона его обрушилась и сам камень готов был распасться надвое. Она была достойной женщиной – так думал судья, – несмотря на свою нервозность, и он не пожалеет денег на новый памятник. Затем он собирался выписать для своего сада редкие фруктовые деревья, а после этого пообедать со своими друзьями-политиками и решить один весьма важный вопрос. Наконец, судья намеревался позвать к себе по какому-то делу вдову одного друга своих ранних лет, терпевшую крайнюю бедность. Впрочем, он мог это сделать или не сделать в зависимости от того, найдется ли у него несколько свободных минут.

Между тем оставалось всего десять минут до обеда. А этот обед был очень важен. Недаром на него съехались самые влиятельные политики со всего штата. Они собрались в доме одного из друзей, тоже великого политика, для решения важного вопроса, кого назначить кандидатом в губернаторы к предстоящим выборам. Но уже было слишком поздно. Гости наверняка теперь назначат не судью, а другого кандидата. Но если бы наш приятель явился теперь к ним со своими широко открытыми глазами, диким и неподвижным взглядом, его страшный вид в одно мгновение прогнал бы их веселость. Тем более странно

было бы, если бы Пинчон, всегда столь опрятный, пришел к ним с этим красным пятном на манишке. Откуда оно взялось? Как бы там ни было, во всяком случае день для Пинчона потерян! Вероятно, он встанет завтра рано? Завтра? Но наступит ли для него это завтра?

Между тем в комнате становится все темнее. Очертания массивной мебели как будто расплываются в серых сумерках, которые мало-помалу окрашивают разные предметы и сидящую среди них человеческую фигуру. Темнота эта происходит не извне, она таилась здесь целый день и теперь, дождавшись своего часа, распространилась по всему дому. Правда, лицо судьи, суровое и странно бледное, еще виднеется в воцарившемся сумраке. Наконец становится не видно никакого окна, никакого лица. Непроглядная, беспредельная темнота все уничтожила. Куда же делся наш мир? Он разрушился, он исчез у нас из виду, и мы посреди хаоса слышим только свист и завывание бесприютного ветра.

Неужели не слышно больше никаких звуков? Слышны ужасные – а именно тиканье часов, которые судья держит в руке в тех пор, как Гепзиба ушла позвать Клиффорда. Эти маленькие, спокойные, никогда не останавливающиеся удары пульса времени в оцепенелой руке судьи Пинчона ужасают своей регулярностью. Как завывает ветер! В эту ночь он разгулялся по дому, как музыкант, играющий на невидимых инструментах. Но посмотрите, как странно озарилась вдруг комната с застывшей в ней фигурой лучами месяца, который появился на небе. Эти лучи освещают бледные, неподвижные черты лица судьи и сверкают на часах. Циферблат не виден под его рукой, но городские часы уже пробили полночь.

Об этом времени ходят разные истории, правда, они так нелепы, что не ужаснули бы и ребенка. Какой, например, смысл заключается в странной сказке, что будто бы в полночь все Пинчоны собирались в этой комнате? И для чего же? Для того чтобы посмотреть, на своем ли месте висит портрет их предка на стене, согласно его завещанию! Стоило ли для этого покойникам вставать из могил?

Нам хочется ненадолго остановиться на этой идее. Семейство покойных Пинчонов, по нашему мнению, должно было собираться в таком порядке. Сперва являлся сам предок, в своем черном плаще и со шпагой на поясе; в руке у него длинный посох, какие пожилые джентльмены носили в старые времена. Он смотрит на портрет. Портрет остался неприкосновенным. Он висит на том же месте, где был повешен при жизни полковника. Глядите, угрюмый старик протянул свою руку и пробует раму. Она неподвижна. Но это не улыбка на его

лице. Это скорее выражение сильного неудовольствия. Полковник недоволен неподвижностью рамы. Это хорошо заметно при свете месяца, который, озаряя его мрачные черты, освещает вместе с тем и часть стены, на которой висит портрет. Что-то очень сильно огорчило предка Пинчонов, он отошел в сторону, сердито покачивая головой.

Вслед за ним появлялись другие Пинчоны, толкая друг друга, чтобы пробраться к портрету. Мы видим стариков и старушек, видим духовную особу с пуританской жесткостью во взгляде и офицера в красном кафтане. Вот и Пинчон, торговавший в лавочке сто лет тому назад, с кружевными манжетами; а вот, в парике и в парчовом кафтане, джентльмен из легенды художника вместе с прелестной и задумчивой Элис, которая тоже встала из гроба. Все они пробуют раму портрета. Чего ищут все эти привидения? Мать поднимает к портрету своего ребенка, чтобы и он потрогал раму своими крошечными ручонками. Очевидно, в этом портрете заключается какая-нибудь тайна, которая нарушает могильное спокойствие Пинчонов.

Между тем в одном углу стоит какой-то пожилой человек в кожаной куртке и таких же штанах, с плотницким топором, торчащим из кармана. Он указывает пальцем на бородатого полковника и его потомство, кивая головой и корча страшные гримасы. Дав свободу своей фантазии, мы уже не в состоянии удержать ее. Мы замечаем в толпе призраков одну странную фигуру. Это молодой человек, одетый, согласно современной моде, в черный фрак-сюртук и в серые узкие панталоны, на груди его – изящная цепочка, а в руке – тоненькая трость с серебряным набалдашником. Если бы мы встретили эту фигуру при дневном свете, то узнали бы в ней молодого Джейфри Пинчона, единственного сына судьи, который последние два года находился в чужих краях. Если он еще жив, то каким образом могла появиться здесь его тень? Если же он умер, то какое это несчастье! Кому достанется теперь старинная собственность Пинчонов вместе с огромным состоянием, приобретенным отцом молодого человека? Бедному, помешанному Клиффорду, сухощавой Гепзибе и маленькой деревенской Фиби!

Но нас ожидает еще одно явление. Верить ли своим глазам? На сцене появился толстый, пожилой джентльмен. Он имеет вид сановитого человека, носит черный фрак и черные панталоны широкого покроя и отличается необыкновенной опрятностью в одежде, но при этом на его белоснежном воротнике видны большие кровавые пятна. Судья это или нет? Судья Пинчон, чью фигуру мы различаем так ясно, как только позволяет нам мерцающий свет

месяца, по-прежнему сидит в дубовом кресле. Но кем бы ни был этот призрак, только он приближается к портрету, берется за раму, старается заглянуть за нее и возвращается назад с такими же мрачно нахмуренными бровями, как и предок Пинчонов.

Фантастическая сцена, нарисованная нами, никоим образом не должна считаться действительной частью нашего рассказа. Мы должны вернуться к фигуре, сидящей в кресле. Судья неподвижен. Неужели он никогда уже не пошевелится? Но если бы он пошевелился, мы бы точно сошли с ума. Бесстрашная маленькая мышь сидит на задних лапках в лунном свете подле самой ноги судьи Пинчона. А! Что же это испугало проворную маленькую мышку? Старая кошка, которая смотрит в окно с улицы. У этой кошки очень неприятная физиономия. Кошка ли еще это, подстерегающая мышь? Вот бы сбросить ее с окошка!

Слава богу, ночь уже очень скоро кончится! Порывистый ветер затих. Который теперь час? А! Часы наконец остановились, потому что судья позабыл завести их, по обыкновению, в десять часов вечера. Но огромные часы – мир – продолжают свой ход. Страшная ночь уступает место свежему, прозрачному, безоблачному утру. Благословенное сияние! Утренние лучи солнца пробиваются сквозь ветви деревьев. Вот муха, одна из обыкновенных домашних мух, которые вечно жужжат на окнах, летит и садится на лоб Пинчона, потом перелетает на подбородок, потом идет по носу к широко открытым глазам. Неужели он не может прогнать муху? Неужели человек, у которого вчера было столько предположений, теперь так слаб, что не может прогнать муху?

Но тут вдруг раздается звонок из лавочки. После этой тяжелой ночи приятно удостовериться в том, что есть еще на свете живые люди и что даже этот старый, пустой дом находится в некотором сообщении с ними. Мы дышим свободнее, выйдя из приемной на улицу, которая пролегает перед Домом с семью шпилями.

### Глава XIX. Смерть и жизнь

После пяти дней ненастной погоды наступило такое утро, которое обещало вознаградить горожан за все, что они претерпели в это время. Дядюшка Веннер встал раньше всех в окрестностях и покатил по улице Пинчонов свою тачку, собирая разные остатки съестного у кухарок для корма своей свинке. Старик был очень удивлен, не обнаружив, против своего ожидания, глиняного горшка с разными остатками съестного, который обыкновенно ставился для него у задней

двери Дома с семью шпилями. Когда он, возвращаясь в недоумении, затворял за собой калитку, скрип ее услышал обитатель северного шпиля.

– Доброго утра, дядюшка Веннер! – сказал художник, выглянув из окна. – А что, еще никто не встал?

– Не видно ни души, – ответил старик. – Но это и не удивительно. Еще только полчаса прошло после восхода солнца. Но я очень рад, что увидел вас, мистер Холгрейв! На той стороне дома странная какая-то пустота, как будто там нет больше ни одного живого человека. Передняя часть дома выглядит гораздо веселее, и цветы Элис распустились после дождя. Если бы я был моложе, мистер Холгрейв, то моя возлюбленная приколола бы к своей груди один из этих цветков, даже если бы я рисковал сломать себе шею. А не разбудил ли вас сегодня ночью ветер?

– Разбудил, дядюшка Веннер, – ответил, смеясь, художник. – Если бы я верил в привидения – я, впрочем, сам не знаю, верю я в них или нет, – то я бы заключил, что все прежние Пинчоны устроили себе пир в нижних комнатах, особенно на половине мисс Гепзибы. Но теперь там опять все тихо.

– Так немудрено, что мисс Гепзиба крепко спит после такой тревожной ночи, – сказал дядюшка Веннер. – Или судья забрал сестру и брата с собой в деревню. Я видел, как он входил вчера в лавочку.

– В котором часу? – спросил Холгрейв.

– Около полудня. Да-да, такое может быть. Оттого и моя тачка осталась без груза. Но я зайду опять днем, потому что никакое кушанье не бывает лишним для моей свинки. Желаю вам приятного утра. Да, мистер Холгрейв, если бы я был молодым человеком, как вы, то я сорвал бы один из цветков Элис и держал его в стакане до тех пор, пока не вернется Фиби.

Разговор на этом прервался, и дядюшка Веннер отправился своей дорогой; с полчаса ничто больше не нарушало тишины семи шпилей; ни один посетитель не заглядывал в них, кроме мальчика, разносчика газет, потому что Гепзиба последнее время регулярно покупала газеты. Потом к лавочке подошла толстая женщина, с чрезвычайной торопливостью, так что даже споткнулась на ступеньке перед дверью. Лицо ее разгорелось от быстрой ходьбы. Она толкнула дверь, но та была заперта, и тогда женщина толкнула ее еще раз с такой силой, что колокольчик неистово зазвенел по ту сторону двери.

— Черт бы побрал эту старуху Пинчон! — пробормотала гостья сердито. — Открыла лавочку и заставляет ждать себя до полудня! Но я или разбужу ее милость, или сломаю дверь!

В самом деле, она толкнула еще раз, и колокольчик, тоже расположенный к вспыльчивости, отозвался так резко, что его звон долетел до слуха одной добродушной леди на противоположной стороне улицы. Отворив свое окно, эта добрая леди сказала нетерпеливой покупательнице:

— Вы не найдете здесь никого, миссис Гэббинс.

— Но я должна кого-нибудь найти! — возмущенно воскликнула миссис Гэббинс, нанося колокольчику новую обиду. — Мне нужно полфунта свиного сала, чтобы пожарить камбалу на завтрак мистеру Гэббинсу, так что пускай мисс Пинчон немедленно отворит дверь!

— Но выслушайте меня, миссис Гэббинс! — перебила ее добрая леди. — Она с братом отправилась к своему кузену, судье Пинчону, в его деревню. В доме теперь нет ни души, кроме этого молодого человека, художника, который живет в северном шпиле. Я сама видела, как старая Гепзиба и Клиффорд выходили вчера из дома.

— А откуда вы знаете, что они отправились к судье? — спросила миссис Гэббинс. — Он ведь богач, и они с мисс Гепзибой недавно поссорились из-за того, что он не давал ей денег. Это-то и заставило ее открыть лавочку.

— Это я хорошо знаю, — ответила соседка. — Но они уехали, это верно. Да и кто, скажите, кроме родственника, принял бы к себе в такую погоду эту сердитую старую девицу и страшного Клиффорда? Все именно так, как я говорю, будьте уверены.

Миссис Гэббинс пошла в другую лавочку, не перестав, однако же, сердиться на Гепзибу за ее отсутствие. С полчаса, а может быть, и дольше на улице у дома царила такая же тишина, как и внутри. Впрочем, вяз тихо качал своими роскошными ветвями на ветру, который почему-то дул только в этом месте. Рой насекомых весело журжал под его густой сенью. Одинокая маленькая птичка с бледно-золотистыми перьями опустилась на цветы Элис.

Наконец наш маленький знакомый, Нед Хиггинс, появился на улице; он направлялся в школу, и так как за эти две недели у него впервые появилось еще несколько пенни, то он никак не мог не зайти в лавочку Дома с семью шпилями.

Но лавочка была заперта. Долго он стучался в дверь с настойчивостью ребенка, преследующего важную цель, но напрасно. Он, без сомнения, мечтал о слоне или, может быть, намерен был съесть крокодила. В ответ на его усилия колокольчик изредка откликался умеренным звоном, но, разумеется, не доходил до того исступления, в которое привела его толстая миссис Гэббинс. Держась за ручку двери, Нед заглянул в окно лавочки и увидел сквозь прореху в занавеске, что внутренняя дверь, ведущая в коридор, была затворена.

– Мисс Пинчон! – закричал мальчишка в окно. – Мне нужен слон!

Так как на его зов не последовало никакого ответа, то Нед начал терять терпение, схватив камень, он уже готов был запустить его в окно, что и сделал бы непременно, если бы один из прохожих не схватил его за руку.

– Что ты здесь буянишь? – спросил он.

– Мне нужна мисс Пинчон, или Фиби, или кто-нибудь из них! – ответил Нед, всхлипывая. – Они не отворяют дверь, и я не могу купить слона.

– Ступай в школу, мелюзга! – сказал ему прохожий. – Тут, за углом, есть другая лавочка. Как, право, странно, Дикси, – обратился он к своему спутнику. – Что стало со всеми этими Пинчонами! Смит, содержатель конюшни для приезжих, говорил мне, что судья Пинчон вчера оставил у него свою лошадь, пообещав забрать ее после обеда, но не забрал до сих пор. А один из слуг судьи приезжал сегодня в город разузнать, где он. Он, говорят, один из тех людей, которые не любят менять своих привычек, к примеру, ночевать в другом доме...

– Не бойся, вернется, куда он денется! – сказал Дикси. – А что до мисс Пинчон, то поверь моему слову, она увязла по уши в долгах и ушла от кредиторов. Помнишь, я предсказывал в то первое утро, когда лавочка только открылась, что ее нахмуренные брови отвадят от нее покупателей? Так и случилось.

– Я никогда и не думал, что у нее получится, – заметил приятель Дикси. – Эта, брат, торговля – не женское все же дело. Моя жена пробовала торговать, но только потеряла пять долларов...

– Дрянная торговля! – изрек Дикси, покачав головой. – Дрянная!

Тем утром было предпринято еще несколько попыток достучаться до жильцов этого молчаливого дома. Зеленщик, булочник, мясник один за другим являлись, пробовали отворить дверь и удалялись, так и не добившись успеха и сердясь,

каждый по своему, на Гепзибу. Если бы кто-нибудь, кто наблюдал за этими сценами, знал об ужасной тайне, скрытой внутри дома, он был бы поражен тем, как поток жизни стремится проникнуть в это жилище смерти.

Вскоре после ухода мясника, который имел особые причины сердиться на мисс Гепзибу, так как она заказала ему к утру кусок телятины, а сама уехала из дома, за углом улицы послышалась музыка. Мало-помалу она приближалась к Дому с семьёй шпилями, иногда затихая. Наконец толпа детей показалась из-за угла. Когда дети ступили в тень вяза Пинчонов, оказалось, что это мальчик-итальянец со своей обезьяной и кукольной комедией, который уже играл когда-то под полуциркульным окном. Прелестное лицо Фиби, а может быть, и щедрая награда, брошенная ею из окна, остались в памяти странствующего фигляра. На лице его отразилась радость, когда он узнал место, где произошло это небольшое приключение в его бродячей жизни. Он прошел на заброшенный двор, разместился на главном крыльце дома и, открыв свой ящик, начал представление. Фигурки пришли в движение, а обезьяна, сняв шапку, кланялась и шаркала ножкой, поглядывая на окно; сам итальянец, поворачивая ручку своего инструмента, посматривал на него, ожидая появления особы, которая сделает его музыку живее и приятнее. Толпа детей обступила его со всех сторон: некоторые остались на тротуаре, другие стояли во дворе, двое или трое поместились на крыльце, а один мальчик присел на пороге.

— Я не слышу в доме никакого шума, — сказал один мальчик другому. — Обезьяне ничего здесь не достанется.

— Нет, кто-то есть в доме, — возразил сидевший на пороге. — Я слышу, как кто-то ходит.

Молодой итальянец тем временем продолжал посматривать вверх. Эти странники очень чувствительны ко всякой доброте, которая встречается им на дороге жизни. Они помнят каждое сказанное им теплое слово, каждую улыбку. Поэтому молодой итальянец продолжал свои мелодичные воззвания, продолжал смотреть вверх, в надежде, что его смуглое лицо скоро озарит солнечная улыбка Фиби. Он играл свою музыку снова и снова, пока вконец не надоел своим слушателям, своим куклам в ящике и больше всех обезьян.

— В этом доме нет детей, — сказал один школьник. — Здесь живет только пара стариков. Ты ничего здесь не получишь. Отчего ты не идешь дальше?

— Зачем ты говоришь ему это? — с возмущением шепнул мальчику хитрый маленький янки, которому нравилась не музыка, а то, что он слушал ее даром. — Пускай себе играет сколько угодно! Если здесь никто ему не платит, так это его выбор.

Итальянец еще раз переиграл все свои песни. Обыкновенному наблюдателю, который слышит только музыку и не знает ничего об этом доме, было бы интересно посмотреть, добьется ли чего-нибудь уличный музыкант. Отворится ли наконец дверь, выбежит ли из нее на свежий воздух целый рой веселых детей, прыгающих, кричащих и хохочущих?

Но на нас, знающих, что происходит в сердце семи шпилей, это повторение веселых мелодий у дверей дома производит страшное действие. Ужасное было бы в самом деле зрелище, если бы судья Пинчон (который не дал бы ни пенни даже за волшебные звуки скрипки Паганини) показался в двери в своей окровавленной одежде с нахмуренными бровями на побледневшем лице и прогнал прочь чужеземного бродягу. Случалось ли еще когда-нибудь веселой музыке играть там, где вовсе не расположены к танцам? Да, и очень часто. Этот контраст встречается ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Печальный, мрачный дом, из которого убежала жизнь и в котором засела зловещая смерть, хмурясь угрюмо в своем одиночестве, символизирует многие сердца, которые, несмотря на свое горе, вынуждены слушать мирской шум и веселую трескотню окружающих их людей.

Итальянец еще продолжал свое представление, когда мимо Дома с семьёй шпилями снова прошли уже знакомые нам приятели.

— Э, брат! — сказал Дикси музыканту. — Ступай отсюда куда-нибудь в другое место со своими глупостями. Здесь живет семейство Пинчонов, и теперь они в большом горе. Вряд ли сегодня им придется по душе твоя музыка. В городе толкуют, что убит судья Пинчон, которому принадлежит этот дом, и что сюда идет городской маршал. Так что убрайся, брат, отсюда подальше.

Когда итальянец поднимал на плечи свою ношу, он увидел на ступеньке крыльца карточку. Подняв ее и увидев на ней что-то написанное карандашом, он попросил одного из приятелей прочесть надпись. То была гравированная визитная карточка судьи Пинчона с записью на обороте, относившейся к разным делам, которые он намерен был вчера исполнить. Вероятно, она выпала из кармана жилета судьи, когда он, прежде чем войти в лавочку, пробовал попасть в

дом через парадную дверь. Несмотря на то, что дождь порядочно размочил карточку, надпись сохранилась еще довольно хорошо.

– Посмотри-ка, Дикси! Это, кажется, принадлежит судье Пинчону! Посмотри – вот напечатано его имя, а тут что-то написано, я думаю, его рукой.

– Пойдем, брат, отнесем ее городскому маршалу! – сказал Дикси. – Это, пожалуй, поможет ему найти ключ к делу. Немудрено, брат, что судья вошел в эту дверь и не вышел отсюда! Здесь живет его кузен, который в прошлом уже выкинул одну такую штуку. А старая мисс Пинчон, наверно, увязла в долгах, и так как бумажник судьи был довольно толст, то чего доброго… у них, брат, в жилах течет дурная кровь!

– Тише, тише! – шепнул его приятель. – Мне кажется грехом говорить о таких вещах. Но я согласен с тобой: нам лучше отправиться к городскому маршалу.

– Да-да! – пробормотал Дикси себе под нос. – Я всегда говорил, что в ее нахмуренных бровях есть что-то недобroe!

Итак, друзья направились к жилищу маршала. Итальянец также пошел своей дорогой,бросив еще один взгляд на полуциркульное окно. Что касается детей, то они все вдруг пустились бежать прочь от дома, как будто за ними погнался какой-нибудь великан или леший, и, отбежав довольно далеко, остановились также внезапно и единодушно, как и побежали.

Когда они оглянулись издали на безобразные шпили старого дома, им показалось, как будто над ним скопился какой-то мрак, которого не в состоянии разогнать никакой свет. Им представлялось, как Гепзиба хмуится и кивает им из нескольких окон одновременно, а воображаемый Клиффорд, который (это сильно бы его огорчило, если бы он узнал) всегда наводил ужас на этот маленький люд, стоит позади Гепзибы в своем полинялом платье и делает какие-то зловещие знаки. Весь оставшийся день самые боязливые из детей пробирались окольными улицами, чтобы только не проходить мимо Дома с семьёй шпилями, а храбрецы собирались толпой и во всю прыть пробегали мимо его страшных дверей и окон.

Прошло немногим больше получаса после того, как удалился итальянец с его неуместной музыкой, когда возле старого вяза остановился дилижанс. Кондуктор снял с крыши дилижанса сундук, узел и картонную коробку и положил все это у дверей дома. Из дилижанса появилась красивая фигурка молодой девушки в

соломенной шляпке. То была Фиби. Хотя она не казалась уже такой беспечной и игривой, как в начале нашей истории, — она стала серьезнее, женственнее и вдумчивее, — но все-таки ее озаряло тихое, естественное сияние радости и легкости. Однако мы считаем, что теперь даже Фиби опасно переступать через порог Дома с семьёй шпилями. Сумеет ли она прогнать из него толпу привидений, которая поселилась здесь со времени ее отъезда, или же сама сделается такой же бесцветной, болезненной, печальной и безобразной — станет призраком, который будет бесшумно скользить вверх-вниз по лестнице и пугать детей, останавливающихся напротив окон?

По крайней мере, мы рады, что можем предупредить чуждую подозрительности молодую девушку, что в этом доме не осталось больше никого, кто мог бы ее встретить, кроме разве что судьи Пинчона, все еще сидевшего в дубовом кресле.

Фиби попыталась сперва отворить дверь лавочки, но та не поддалась; увидев белую занавеску, которой было задернуто окно в верхней части двери, девушка тотчас поняла, что в доме случилось что-то необыкновенное. Она отправилась к большому порталу над полуциркульным окном. Найдя и эту дверь запертой, она постучала молотком. Ей ответило эхо опустевшего дома. Девушка постучала еще и еще раз и, приложив ухо к двери, услышала или вообразила, что услышала, будто Гепзиба осторожно идет по скрипучим половицам к двери, чтобы отворить ей. Но за этими воображаемыми звуками наступило такое мертвое молчание, что Фиби спросила себя, не ошиблась ли она домом, как бы ни был он ей знаком по своему виду.

В эту минуту ее внимание отвлек детский голос. Кто-то звал ее по имени. Посмотрев в ту сторону, откуда доносился этот голос, Фиби увидела маленького Неда Хиггинса, который стоял на значительном расстоянии от нее, посреди улицы. Мальчуган топал ногами, качал головой, делал обеими руками умоляющие знаки и кричал ей изо всей силы:

— Не входите, не входите! Там что-то страшное случилось! Не входите, не входите туда!

Но так как он не решался подойти к ней ближе, чтобы все объяснить, то Фиби заключила, что его испугала кузина Гепзиба, потому что, в самом деле, обращение доброй леди или смешило детей, или сводило их с ума. Девушка отправилась в сад, где надеялась найти Клиффорда и, может быть, саму Гепзибу. Как только она отворила калитку, семейство кур бросилось ей навстречу, между

тем как страшная старая кошка, притаившаяся под окном приемной, вскарабкалась на ставень и вмиг исчезла из виду. Беседка была пуста, и ее пол, стол и скамейки все еще были мокры и усеяны листьями, говорившими о миновавшей буре. Бурьян воспользовался отсутствием Фиби и продолжительным дождем и разросся между цветов и прочих садовых растений. Источник Моула выступил из своих каменных берегов и образовал в углу сада пруд ужасной ширины.

У Фиби было такое впечатление, будто ни одна человеческая нога не ступала здесь с самого ее отъезда. Она нашла свой собственный гребешок в беседке под столом, куда он, вероятно, упал в последний раз, когда она сидела здесь с Клиффордом. Фиби знала, что ее родственники способны еще и не на такие странности и могли запереться на несколько дней в доме. Несмотря на это, с неясным предчувствием, что случилось что-то дурное, она подошла к двери, которая соединяла дом и сад. Эта дверь также оказалась заперта изнутри. Фиби, однако же, постучалась, и вдруг, как будто внутри ожидали этого сигнала, дверь отворилась – не широко, но достаточно для того, чтобы девушка прошла. Так как Гепзиба всегда отворяла дверь таким образом, то Фиби не сомневалась, что открыла ей именно она. Поэтому девушка немедленно перешагнула через порог, и лишь только она вошла, как дверь опять затворилась.

## Глава XX. Райский цветок

Фиби, внезапно попав из яркого дневного света в густые сумерки коридора, не сразу увидела, кто впустил ее. Прежде чем ее глаза привыкли к темноте, кто-то взял ее за руку – крепко, но очень нежно, от чего сердце ее забилось с необъяснимой для нее самой радостью. Ее повели дальше – не в приемную, но в другую, нежилую комнату, которая в старые времена была большой приемной Дома с семьёй шпилями. Солнечный свет лился во все незанавешенные окна этой комнаты и падал на пыльный пол. Фиби теперь увидела ясно – хотя это уже не было для нее открытием после теплого пожатия руки, – что ее впустил в дом не Клиффорд и не Гепзиба, а Холгрейв. Какое-то неопределенное чувство подсказывало ей, что она услышит от него что-то необыкновенное, и, не отнимая руки, она смотрела пристально ему в лицо. Она не предчувствовала ничего ужасного, однако, была уверена, что в доме совершилась важная перемена, и потому с беспокойством ожидала объяснения.

Художник был бледнее обычного, на его лице лежал отпечаток задумчивости и суровости. Впрочем, улыбка его была исполнена неподдельной теплоты. Он походил на человека, который, в одиночестве размышляя о каком-нибудь ужасном предмете посреди дремучего леса или беспредельной пустыни, вдруг узнал знакомый образ самого дорогого друга. Несмотря на это, когда он почувствовал необходимость ответить на вопросительный взгляд Фиби, улыбка исчезла с его лица.

— Я не должен радоваться вашему возвращению, Фиби, — сказал он. — Мы встретились с вами в странную минуту!

— Что случилось? — воскликнула она. — Отчего опустел дом? Где Гепзиба и Клиффорд?

— Ушли! Я не могу понять, где они! — ответил Холгрейв. — Мы одни в доме!

— Гепзиба и Клиффорд ушли! — вскрикнула Фиби. — Возможно ли это? И зачем вы привели меня в эту комнату вместо приемной Гепзибы? Ах, случилось что-то ужасное! Я хочу видеть!..

— Нет-нет, Фиби! — сказал Холгрейв, останавливая ее. — Я вас не обманываю: они действительно ушли, и я не знаю, куда. Ужасное происшествие и правда случилось в доме, но не с ними и, в чем я совершенно уверен, не по их вине. Если я верно понял ваш характер, Фиби, — продолжал он, глядя на нее с беспокойством и нежностью, — то при всей вашей внешней хрупкости вы одарены необыкновенной силой.

— О, нет, я очень слаба! — ответила девушка, дрожа. — Но скажите же мне, что случилось?

— Вы сильны! — настаивал на своем Холгрейв. — Вы должны быть и сильны, и благоразумны, потому что я совсем сбился с пути и нуждаюсь в ваших советах. Может быть, вы подскажете мне, что я должен делать.

— Говорите же! Говорите! — взмолилась Фиби. — Эта таинственность пугает меня! Скажите хоть что-нибудь!

Художник медлил. Он все еще не решался открыть ей ужасную тайну вчерашнего дня. Но невозможно было таиться перед ней, она должна была узнать истину, — Фиби, — сказал он, — помните ли вы это?

Он подал ей дагеротип – тот самый, который он показывал ей в первое их свидание в саду.

– Что общего имеет эта вещь с Гепзибой и Клиффордом? – спросила Фиби нетерпеливо, удивившись, что Холгрейв шутит с ней в такую минуту. – Это судья Пинчон! Вы мне уже его показывали.

– Но вот то же самое лицо, нарисованное всего полчаса назад, – сказал художник, показывая ей другую миниатюру. – Я как раз окончил портрет, когда услышал ваш стук в дверь.

– Это мертвец! – вскрикнула, побледнев, Фиби. – Судья Пинчон умер?

– Да, – сказал Холгрейв. – Он сидит в соседней комнате. Судья Пинчон умер, а Клиффорд и Гепзиба исчезли. Больше я ничего не знаю. Все, что можно к этому прибавить, – только догадки. Возвращаясь в свою комнату вчера вечером, я не заметил никакого света ни в приемной, или комнате Гепзибы, ни у Клиффорда, ни какого-либо шума, ни шагов не было слышно в доме. Сегодня утром – та же мертвая тишина. Из окна я слышал, как соседка говорила кому-то, что ваши родственники оставили дом во время вчерашней бури. Потом до меня дошел слух, что судья тоже исчез. Какое-то особенное чувство, которого я не могу описать – неопределенное чувство какой-то катастрофы, – заставило меня пробраться в эту часть дома, где я и обнаружил то, что вы видите. Чтобы приобрести свидетельство, нужное Клиффорду и важное для меня – потому что, Фиби, я странным образом связан с судьбой этого человека, – я решил запечатлеть его портрет.

Даже в своем волнении Фиби не могла не заметить спокойствия в поведении Холгрейва. Он чувствовал, по-видимому, весь ужас смерти судьи, но осознал этот факт умом, без всякой примеси удивления, как неизбежное событие, которое можно было предвидеть.

– Почему вы не отворили дверей и не позвали свидетелей? – спросила Фиби, содрогнувшись. – Ужасно оставаться здесь одному!

– Но Клиффорд! – воскликнул художник. – Клиффорд и Гепзиба! Нам нужно подумать, что можно сделать для их пользы. Их бегство придает дурной смысл этому событию. Но как легко объясняется оно для тех, кто знал их! Ужаснувшись сходства смерти судьи со смертью одного из предков Пинчонов, которая имела для Клиффорда такие горестные последствия, они не придумали

ничего другого, кроме как бежать с рокового места. Как они несчастны! Если бы Гепзиба закричала, если бы Клиффорд растворил дверь и объявил о смерти судьи Пинчона, все бы хорошо для них кончилось. Так они могли бы смыть черное пятно, лежащее, по мнению общества, на Клиффорде. Если разобрать и объяснить происшедшее надлежащим образом, тогда стало бы ясно, что судья Пинчон не мог умереть насильственной смертью. Так не раз умирали члены его семейства, причем именно люди его лет, особенно в напряжении или припадке гнева. Предсказание старого Моула было, может быть, основано на знании этой предрасположенности Пинчонов. Между смертью, случившейся вчера, и смертью дяди Клиффорда, описанной тридцать лет назад, очень много сходства. Правда, там были подведены некоторые обстоятельства, которые сделали почти несомненным тот факт, что старый Джейфри Пинчон умер насильственной смертью и от руки Клиффорда.

– Подведены, вы говорите? Кем же? – воскликнула Фиби.

– Да, подведены, человеком, который сидит в той комнате. Его собственная смерть во всем похожа на смерть его дяди – кажется, будто само Провидение покарало его за его злодейство и доказало невинность Клиффорда. Но бегство Клиффорда все разрушило. Может быть, они с Гепзибой прячутся где-нибудь поблизости. Если бы мы только отыскали их, пока не открыта смерть судьи, беду еще можно было бы поправить.

– Нам нельзя скрывать происшедшее, – сказала Фиби. – Клиффорд невинен. Сам Бог будет за него свидетельствовать. Отворим дверь и позовем соседей.

– Вы правы, Фиби, – кивнул Холгрейв. – Вы, несомненно, правы.

Но художник не торопился последовать ее совету. Напротив, настоящее положение доставляло ему какое-то дикое удовольствие: он срывал цветок странной красоты, растущий, как цветы Элис, на печальном месте под открытым ветром. Это положение отделяло его с Фиби от остального мира и связывало их между собой. Тайна, пока она оставалась тайной, держала их в таком удалении от остального мира, как будто они очутились одни на острове посреди океана. Лишь только все откроется, океан потечет между ними, и они очутятся на разделенных берегах. Между тем все будто соединилось для того, чтобы их сблизить: они были похожи на детей, которые рука об руку проходят по темному коридору, населенному привидениями.

– Зачем мы медлим? – спросила Фиби. – Этот секрет не дает мне дышать свободно. Отворим поскорее дверь!

– В нашей жизни не повторится уже подобной минуты! – воскликнул Холгрейв. – Фиби, неужели мы чувствуем один ужас и ничего более? Неужели вы не испытываете, как я, чего-то особенного, что делает этот момент незабываемым?

– Мне кажется грехом, – ответила девушка, дрожа, – думать о радости в такое время!

– Если бы вы знали, что было со мной до вашего приезда! – проговорил художник. – Я был один в этом мрачном, холодном доме. А присутствие этого мертвого человека набросило огромную тень на все видимое; он делал мир, доступный моему сознанию, сценой преступления и возмездия еще более ужасного, чем само преступление. Это чувство лишило меня моей юности. Я не надеялся уже вернуться к ней. Мир стал для меня странным, диким, злым, враждебным; моя прошедшая жизнь представлялась мне одинокой и бедственной, будущее казалось моей фантазии мглой, которой я должен был придать какие-то мрачные формы. Но, Фиби, вы перешагнули через порог, и надежда, сердечное тепло и радость вернулись ко мне вместе с вами. Мрачная минута сделалась вдруг лучезарной. Неужели я должен упустить ее, не произнеся ни слова?.. Я люблю вас!

– Как вы можете любить такую, как я, простую девушку? – спросила Фиби. – У вас так много мыслей, которые я напрасно старалась бы понять. И у меня также есть свои стремления, которые вы тоже едва ли поймете. А главное то, что у меня нет возможности сделать вас счастливым.

– Вы для меня единственная возможность счастья, – отвечал Холгрейв. – Я не поверю в него, если только вы мне его не дадите.

– И потом – я боюсь, – продолжала Фиби, откровенно высказывая сомнения, которые он поселял в ее душе. – Вы заставите меня выйти из моей колеи. Вы заставите меня следовать за вами по путям, еще не проложенным. Я не в состоянии этого сделать. Я упаду и погибну!

– Ах, Фиби! – воскликнул Холгрейв со вздохом, сквозь который прорывался невольный смех. – Все будет совсем иначе, нежели вы воображаете. Человек счастливый не стремится вырваться из привычной обстановки. У меня есть

предчувствие, что с этого времени мне предназначено сажать деревья, возводить ограды — может быть, даже построить дом для другого поколения. Ваше благоразумие будет подавлять мои эксцентричные стремления.

— Но я не хочу этого! — сказала Фиби с чувством.

— Любите ли вы меня? — спросил Холгрейв. — Если вы любите другого, то прекратим этот разговор, и все. Любите ли вы меня, Фиби?

— Вы читаете в моем сердце, — ответила она, потупив взор. — Вы знаете, что я люблю вас!

В этот-то час, полный сомнений и ужаса, состоялось признание. Мертвец, находившийся так близко от них, был позабыт. Вдруг Фиби прошептала:

— Слушайте! Кто-то идет к двери!

— Вероятно, слух о визите судьи Пинчона и бегстве Гепзибы и Клиффорда заставил полицию явиться сюда, — сказал Холгрейв. — Нам остается только отворить дверь.

Но прежде, чем они достигли двери, они услышали чьи-то шаги в передней. Дверь, которую они считали запертой на ключ, была отперта снаружи. Звуки шагов были слабы, как будто шел кто-нибудь слабосильный или усталый, и вместе с ними послышался говор двух голосов, знакомых обоим слушателям.

— Может ли быть такое! — прошептал Холгрейв.

— Это они! — воскликнула Фиби. — Слава богу! Слава богу!

И, как бы вторя словам Фиби, послышался яснее голос Гепзибы:

— Слава богу, братец, мы дома!

— Прекрасно! Да! Слава богу! — ответил Клиффорд. — Страшный же у нас дом, Гепзиба! Но ты хорошо сделала, что привела меня сюда. Постой! Дверь в приемную отворена. Я не смогу пройти мимо нее. Пойду лучше посижу в беседке, где я — о, кажется, что это было так давно! — где я бывал так счастлив с маленькой Фиби.

Но дом вовсе не был так страшен, как казалось Клиффорду. Они сделали еще несколько шагов и остановились на пороге, словно не зная, что делать дальше, когда Фиби выбежала к ним навстречу. Увидев ее, Гепзиба зарыдала. Напрягая

все свои силы, она держалась до сих пор, сгинаясь под бременем горя и ответственности, и наконец как бы сбросила его с плеч. Впрочем, нет! У нее не хватило энергии сбросить с плеч свое бремя, она только перестала его поддерживать и поддалась его гнету. Клиффорд оказался гораздо сильнее.

– Это наша маленькая Фиби! Ах! И Холгрейв с ней! – воскликнул он, бросив на них деликатно-проницательный взгляд, сопровождаемый добродушной меланхоличной улыбкой. – Я думал о вас обоих, когда мы шли по улице и когда я увидел на кровле распустившиеся цветы Элис. Так и в этом старом, мрачном доме расцвел сегодня райский цветок!

### Глава XXI. Отъезд

Внезапная смерть такой особы, как Джейфри Пинчон, произвела сенсацию в обществе. Нужно, впрочем, заметить, что из всех важных происшествий, которые составляли биографию этого человека, едва ли было хоть одно, с которым свет примирился бы так скоро, как с его смертью. Когда власти признали, что это событие произошло естественным образом и что, кроме некоторых неважных обстоятельств, смерть его не таила в себе ничего необычного, публика перестала судачить о нем и быстро успела забыть, что он существовал на свете.

При всем том толки частного характера ходили в тех местах, которые когда-то посещал судья Пинчон. Странное дело, как часто смерть человека дает людям более верное представление о его характере, чем давал он сам, когда жил среди них. Смерть исключает всякую фальшь, это пробный камень, который доказывает подлинность золота и выявляет неблагородные металлы. Подозрительные толки, о которых идет речь, относились к мнимому убийству дяди покойного Пинчона. Мнение медиков относительно кончины судьи почти совершенно опровергло мысль, что в первом случае было совершено убийство. В то время некоторые обстоятельства бесспорно доказали, что кто-то входил в кабинет старого Джейфри Пинчона в самую минуту его смерти или перед ней. Его письменный стол и выдвижные ящики в комнате, смежной со спальней, были опорожнены: деньги и драгоценные вещи исчезли; на белье старика найден был кровавый отпечаток руки. Клиффорд, живший тогда с дядей в Доме с семью шпилями, был обвинен в воровстве и мнимом убийстве.

Согласно частным историям, судья Пинчон был в молодости большим повесой. Грубые инстинкты развились в нем раньше умственных способностей и силы характера, которыми он впоследствии выделялся. Он вел бродячую жизнь, предаваясь низким удовольствиям, он беззаботно проматывал деньги, которые добывал из единственного источника – кармана своего доброго дяди. Такое поведение лишило его любви старого холостяка, который прежде был сильно к нему привязан. Тогда, однажды ночью, как говорит предание, молодой человек решил порыться в ящиках своего дяди, к которым заблаговременно подобрал ключи. Но в то время, когда он занимался этим гнусным делом, дверь, ведущая в спальню дяди, отворилась, и стариk показался на пороге в своем ночном платье. Он испытал такое удивление, испуг и ужас, что проявилась наследственная предрасположенность, и старый холостяк как бы захлебнулся кровью и упал на пол, ударившись виском об угол стола. Что было делать? Стариk умер. Пытаться помочь ему было уже слишком поздно.

С холодной решимостью, которая всегда отличала судью Пинчона, молодой человек продолжил обыск ящиков и нашел недавно составленное духовное завещание в пользу Клиффорда вместе с написанным прежде в его пользу. Он уничтожил первое и оставил второе. Но, прежде чем удалиться, он оставил в опорожненных ящиках следы того, что кто-то посещал эту комнату со злыми намерениями. Он был намерен освободить себя от Клиффорда, своего соперника, к которому питал презрение и отвращение. Невозможно думать, что уже в то время он собирался возвести на Клиффорда обвинение в убийстве. Но когда дело приняло мрачный оборот, Джейфри так коварно все подстроил, что во время суда над Клиффордом ему даже не пришлось давать никаких лживых показаний.

Человеку столь респектабельному, как судья Пинчон, подобного рода преступление было несложно забыть. Прикрывая злодеяние множеством доблестных подвигов, он поместил его в число забытых и искупленных проказ молодости и редко вспоминал о нем.

Оставим же судью. Он не знал о том, что был бездетен уже в то время, когда пытался приобрести новое наследство для своего единственного сына. Не прошло и недели после его смерти, как один из заграничных пароходов привез известие, что наследник огромного состояния умер, готовясь отплыть на родину. Так Клиффорд, Гепзиба и Фиби стали богатыми людьми, а вместе с Фиби обогатился и пылкий Холгрейв.

Смерть судьи Пинчона оживила Клиффорда. Этот сильный и тяжелый человек был для него кошмаром. Он не мог дышать свободно под его зловредным влиянием. С тех пор он уже не впадал в свою прежнюю апатию. Умственные способности, правда, так и не вернулись к нему в полной мере, однако же, он был счастлив.

Вскоре после перемены своих обстоятельств Клиффорд, Гепзиба и маленькая Фиби с одобрения художника решились оставить несчастный старый Дом с семьёй шпилями и поселиться в деревенском доме покойного судьи Пинчона. Горлозвон и его семейство были перевезены туда заблаговременно. В день, назначенный для отъезда, главные действующие лица нашей истории, в том числе и добрый дядюшка Веннер, собирались в приемной комнате Гепзибы.

— Деревенский дом, без сомнения, прекрасен, насколько я могу судить по плану, — сказал Холгрейв, когда зашел разговор о будущем. — Но я удивляюсь, что покойный судья, будучи таким богачом и намереваясь передать свое состояние потомству, не выстроил этого прекрасного архитектурного создания из камня, а не из дерева. Это придало бы ему постоянство, которое я считаю необходимым для счастья.

— Как! — вскрикнула Фиби, глядя на художника с изумлением. — Неужели ваши взгляды так переменились? Каменный дом!

— Ах, Фиби! Я говорил вам это прежде, но теперь я перед портретом родоначальника Пинчонов.

— Этот портрет, — сказал Клиффорд. — Всякий раз, как я смотрю на него, меня преследует старое, смутное воспоминание, которое никак не выходит у меня из головы. Что-то вроде богатства, несметного богатства! Мне кажется, что, когда я был ребенком или молодым человеком, этот портрет говорил со мной и объявил мне драгоценную тайну, или что он протягивал ко мне руку со свитком, в котором было написано, где скрыто богатство. Но все эти старинные воспоминания так смутны! Что может значить эта фантазия?

— Вероятно, я напомню вам, — сказал Холгрейв. — Посмотрите, можно спорить, что ни один человек, не зная секрета, не тронет этой пружины.

— Секретная пружина! — вскрикнул Клиффорд. — А, теперь я вспомнил! Я нашел ее однажды летом, давным-давно, когда праздно бродил по дому. Но тайну совершенно забыл.

Художник нажал на пружину, о которой говорил. В прежнее время портрет, вероятно, только бы немного подвинулся, но теперь пружина, видимо, заржавела, и потому он сорвался со стены и упал лицом на пол. В стене открылось углубление, где лежал свиток пергамента, покрытый вековой пылью. Холгрейв развернул его. Это оказался старинный акт, подписанный иероглифами нескольких индейских вождей, передающий полковнику Пинчону и его наследникам право на владение обширными восточными землями на вечные времена.

– Это тот самый документ, который пытался отыскать отец прелестной Элис и который стоил ей счастья и жизни, – сказал Холгрейв, намекая на свою сказку. – Его так желали заполучить Пинчоны. Теперь он давно уже обесценился.

– Бедный кузен Джекфри! Так вот что ввело его в заблуждение! – воскликнула Гепзиба. – Когда они оба были молоды, Клиффорд, вероятно, рассказал ему что-то вроде волшебной повести о своем открытии. Он, бывало, мечтал, бродя по дому, и раскрашивал его мрачные углы прекрасными историями. А бедный Джекфри, понимавший это в буквальном смысле, думал, что мой брат нашел дядино богатство. Он и умер с этим заблуждением в душе.

– Но скажите, – тихо спросила Фиби у Холгрейва, – как вы узнали этот секрет?

– Милая моя Фиби, – сказал тот, – как вам понравится носить фамилию Моула? Что касается секрета, то это единственное наследство, полученное мной от предков. Сын казненного Мэтью Моула во время постройки этого дома, воспользовавшись случаем, сделал в стене углубление и спрятал в нем индейский акт, от которого зависело право Пинчонов на владение восточными землями. Так-то они променяли эту обширную территорию на несколько акров земли Моула.

Через несколько минут прекрасная темно-зеленая карета подъехала к полуразрушившемуся порталу Дома с семьёй шпилями, и все наше общество отправилось в деревенский дом покойного судьи, кроме дядюшки Веннера, который согласился на просьбу Фиби вместо фермы провести остаток жизни в хижине, построенной в новом саду, но остался на несколько дней, чтобы проститься с обитателями улицы Пинчонов. Толпа детей собралась посмотреть на странников, весело покидавших старый, нахмуренный дом. В числе их Фиби узнала маленького Неда Хиггинса и подарила ему на прощание серебряную

монету, за которую он мог населить свой желудок всеми четвероногими, какие только когда-либо делались из пряничного теста.

В то самое время, когда карета двинулась с места, по тротуару проходило два человека.

– Что, брат Дикси, – сказал один из них, – что ты думаешь обо всем этом? Моя жена держала лавочку три месяца и понесла пять долларов убытка, а старая мисс Пинчон торговала почти столько же и везет в карете тысяч двести. Можешь считать, что это везение, но, по-моему, это скорее воля Провидения.

– Хорошо она все устроила, нечего сказать! – ответил на это проницательный Дикси.

В источнике Моула, который остался в одиночестве, продолжают сменяться калейдоскопические картины. В них можно прочитать предвестие наступающего счастья Гепзибы и Клиффорда, любующихся потомством Моула и Фиби. Между тем старый вяз, желтея от сентябрьского ветра, шепчет неясные предсказания. А когда дядюшка Веннер проходил в последний раз мимо полуразрушенного портала, ему почудилось, что он слышит в доме музыку, и его воображению представилась прелестная Элис Пинчон, радующаяся счастью своих родственников и извлекающая прощальные звуки из своих клавикордов перед отлетом на небо из Дома с семьёй шпилями.

[Натаниэль Готорн, 1851](#)

Электронная библиотека «Оригинал» - Классическая литература на языке оригинала и переводы на иностранные языки <http://originalbook.ru>